

Евгений Водолазкин Чагин

Роман

Лауреат премий
БОЛЬШАЯ
КНИГА
ЯСНАЯ
ПОЛЯНА



Новая русская классика

Евгений Водолазкин

Чагин

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Водолазкин Е. Г.

Чагин / Е. Г. Водолазкин — «Издательство АСТ»,
2022 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-151236-1

Евгений Водолазкин – автор романов «Лавр», «Авиатор», «Соловьёв и Ларионов», «Брисбен», «Оправдание Острова», сборников короткой прозы «Идти бестрепетно» и «Инструмент языка», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Исидор Чагин может запомнить текст любой сложности и хранить его в памяти как угодно долго. Феноменальные способности становятся для героя тяжким испытанием, ведь Чагин лишен простой человеческой радости – забывать. Всё, к чему он ни прикасается, становится для него в буквальном смысле незабываемым. Всякий великий дар – это нарушение гармонии. Памяти необходимо забвение, слову – молчание, а вымыслу – реальность. В жизни они сплетены так же туго, как трагическое и комическое в романах Евгения Водолазкина. Не является исключением и роман «Чагин». Среди его персонажей – Генрих Шлиман и Даниель Дефо, тайные агенты, архивисты и конференсье, а также особый авторский стиль – как и всегда, один из главных героев писателя.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-151236-1

© Водолазкин Е. Г., 2022
© Издательство АСТ, 2022

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Евгений Водолазкин

Чагин

© Водолазкин Е.Г.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

*Мой Телемак,
Троянская война
окончена. Кто победил – не помню.*

Иосиф Бродский. Одиссей Телемаку

Часть первая

Дневник Чагина

Когда-то Исидор Чагин был знаменит. Его удивительная память вызывала восхищение. Иногда – сомнение: не являлись ли опыты с его участием результатом тщательно подготовленной манипуляции? Не верилось, что человек способен запомнить текст любой сложности и хранить его в голове как угодно долго. Потом выдающегося мнемониста забыли – что звучит почти скандально. Многие свидетели его славы уже в могиле, а те, что живы, поглощены противостоянием неизбежному.

Недавний всплеск интереса к покойному связан с исчезновением его Дневника. В полицейском протоколе событие четко определено как кража со взломом. В ходе следствия мне («Вы были последним, кто работал с Дневником») пришлось ответить на множество вопросов, но выяснить судьбу рукописи не удалось.

Да, я был последним, кто работал с Дневником. Скажу больше: был также первым и единственным. Когда я объявил, что собираюсь написать о моей работе, кто-то сказал, что это мой долг. Потом еще кто-то: банальности произносятся многократно. Я не люблю слова *долг*. Оно представляется мне в виде скорбного отсчитывания купюр. Это не случай Чагина, и двигало мной не чувство долга. Какое-то другое, не столь могучее, чувство.

Изучая эту жизнь, необычную и по-своему трагическую, я стал смотреть на нее изнутри. Кое-что из Дневника я успел выписать, но в основном – запомнил. Всё это легло в основу моих заметок. Бумага – большое подспорье для памяти, потому что всякий, кто запоминает, имеет и свойство забывать. За исключением, может быть, Чагина, который ничего не забывал.

* * *

Исидор Чагин, архивист (1940–2018).

Табличку для могильного креста заказывал я. По-моему, достойный текст – информативно и лаконично. О покойном, понятное дело, можно было сказать и больше. Можно было и фотографию поместить. Некоторые так и делают, но в этом, я считаю, нет необходимости. Имя, фамилия, род занятий, годы жизни – вполне достаточно. Избыточность вредит.

Уход его прошел незамеченным, как то и подобает архивисту. Сам сотрудник архива, говорю это без тени иронии. Всякому роду занятий – своя жизнь и своя смерть. Я бы тоже хотел умереть незаметно – уронив голову на какое-нибудь архивное дело, под включенной лампой с круглым зеленым абажуром...

После отпевания в Князь-Владимирском соборе (оно прошло в узком кругу) гроб привезли на кладбище. Гражданская панихида, вопреки обыкновению, проходила не в Архиве – там делали ремонт. Вместо изысканных архивных интерьеров с Чагиным прощались в кладбищенском ритуальном зале. Бетонные, пораженные грибом стены, потрескавшиеся плитки пола. Простуженный голос сотрудницы похоронной службы, бледной усталой женщины с носовым платком в кулаке.

Зачитывая некролог, она запнулась. Бросила взгляд в свою бумагу, потом на Исидора и не очень уверенно сказала, что руки покойного пахнут просолёнными морскими канатами. Многие заулыбались, поскольку никаких канатов в жизни Исидора не было. Он, вообще говоря, казался ходячей скрепкой.

Позднее сотрудница, читавшая некролог, подошла к директору Архива и попросила извинить ее за недоразумение с канатами. Этот фрагмент попал в ее выступление из файла о моряке. В правильном тексте сообщалось, что руки Исидора пахли пылью веков. Директор

добродушно похлопал ее по плечу. В конце концов, моряков в Петербурге не меньше, чем архивистов. Да и какая разница, чем пахли руки покойника? Кто там будет приниматься...

Когда выходили из ритуального зала, начался дождь. Крупные капли били по зонтикам и по крышке гроба. Распорядительница отметила, что по усопшему плачет сама природа, но на это никто не отозвался. Всем было очевидно, что природа плакала по каким-то своим причинам. Из-за дождя гроб закапывали быстро, и мокрые лопаты могильщиков мелькали, как в ускоренной съемке. Через четверть часа все уже спешили к автобусу.

У ворот кладбища директор догнал меня и взял под руку.

– От Чагина нам достался солидный архив. Там много всего, но главное, говорят, Дневник. Учитывая особенности Исидора Пантелеевича, думаю, небезынтересный.

– Архив архивиста, – пробормотал я. – Архивесело.

– У вас, Мещерский, хорошее чувство юмора. Бесценное качество для архивного работника.

Сдержанно поклонившись, я было пропустил его вперед – догадывался, к чему он клонит. Но директор сжал мой локоть, и мы остановились прямо в воротах.

– Займетесь архивом Чагина?

Я не спешил с ответом, а директор меня не торопил. Он задумчиво рассматривал объявление на воротах. За нашими спинами толпились коллеги, но, несмотря на дождь, никто нас не обгонял. Что значит быть начальником...

– Расписание работы кладбища, – медленно прочел директор. – Я бы добавил: к сведению покойников.

Он обернулся ко мне:

– Ну что, займетесь?

– Трудно, Аскольд Романович, отказать в такой просьбе на кладбище, – ответил я.

Это был ответ, полный достоинства, поскольку согласие соединялось в нем с возможностью отказа. Пусть даже этой возможностью я и не воспользовался.

Директор вручил мне ключи от квартиры Чагина, чтобы предварительную работу с материалами я произвел на месте.

– Руки покойного пахнут пылью веков – в этом что-то есть, – директор засмеялся. – Проследите, чтобы на моих похоронах сказали именно так.

Я изобразил легкий ужас: разве директор может умереть?

* * *

На самом деле руки Исидора пахли дегтярным мылом. Все знали, что он моет их после каждого рукопожатия. Кроме того, от него пахло чесноком. Этот запах исходил не только из рта Чагина, но выделялся каждой порой его кожи. Мылом и чесноком пожилой сотрудник защищал себя от вредоносных микроорганизмов. В конце концов, в зрелом возрасте каждый имеет право на причуды.

Чагин ушел на пенсию года два назад – по собственному желанию. Если бы он хотел, мог бы преспокойно работать и дальше: его ценили. Но Исидор, очевидно, хотел другого. Может быть, отдыха. Или даже путешествий – умер он, как выяснилось, в Тотьме, маленьком северном городе.

В течение многих лет Чагин являлся на службу в одно и то же время и, как мне казалось, в одном и том же виде. Надо думать, одежду Чагин менял, но каждая смена повторяла предыдущую. В любое время года он ходил в темно-сером костюме и такой же рубашке. Серым был и его галстук, который не сразу опознавался, потому что сливался с рубашкой. Осенью и весной Чагин носил болоньевый плащ цвета мокрого асфальта, а зимой – темно-серое пальто

с цигейковым воротником. Когда вышел роман «Пятьдесят оттенков серого», я подумал, что так могла бы называться и книга об Исидоре.

Замечу, что Чагин радовал не только глаз, но и ухо: он говорил скрипучим бесцветным голосом, довершавшим его особенный облик. Однажды я (мальчишка, нахал) сказал Исидору, что для полноты образа ему не хватает черного зонта, и он молча кивнул. Я подумал было, что он обиделся, но через несколько дней Чагин пришел именно с таким зонтом – и больше с ним не расставался. В погожие дни он использовал его в качестве трости.

Особый чагинский стиль я никогда не считал стилизацией, но сейчас, спустя годы, понимаю, что оттенков серого могло быть и поменьше. Увеличивая их количество, Исидор не только демонстрировал качества художника (они у него были), но и создавал вокруг себя оболочку – если угодно, зонтик, – которая защищала его от внешних воздействий. Чагин ценил свое одиночество и делал всё, чтобы оно не нарушалось.

Между тем Исидор не всегда был таким. Просматривая книги по истории архивного дела, мы, его сотрудники, время от времени натывались на немыслимые снимки. Молодой человек в белых широких штанах и светлой сетчатой тенниске. После каждого такого открытия под изумленный шепот книга переходила из рук в руки: неужели это Исидор? Да, это был именно он – весь в белом, без запаха чеснока. Фотографии (за исключением разве что очень хороших) не передают запахов, но одежда, прическа, а главное – взгляд Исидора – такой запах исключали.

В другой журнальной публикации – фото Чагина в длинном кашемировом пальто. На шее – светлый шарф, свернувшийся двумя небрежными кольцами. Сходство шарфа с удавом так очевидно, что переводит фотографию в разряд экзотических. В еще большей степени это делает широкополая шляпа. Киплинг. Гумилев. Чагин.

Но самое удивительное в снимке – это прилипшая к углу Исидорова рта папироса. Исидор и папироса – о, боги... Появление папиросы объяснял помещенный на той же странице журнала причудливый текст. Исидор вспоминал фокус, который показывал в юности.

Затягивался. Задерживал дым. Говорил за двоих:

– Солдат, куришь?

– Курю.

– Трубка есть?

– Есть.

– Плюнь.

Плевал.

– Дунь.

Дул.

– Выпусти дым.

Только после этого выпускал весь дым – он, наш Исидор.

Наконец, все мы знали об удивительном мнемоническом даре Чагина. Старые журналы описывали, как наш коллега запоминал колонки в сотни цифр и воспроизводил их без единой ошибки. Как, ознакомившись с любым текстом, готов был повторить его сейчас же, и через месяц, и через пять лет.

Несколько раз мы просили его продемонстрировать свои способности, но Исидор отказывался – кроме одного раза, лет семь назад, когда я только начинал работать в Архиве. Да, мы как раз отмечали мое поступление на работу. И к нам неожиданно присоединился Чагин. Стояла ранняя весна, и в открытую форточку вливался сырой питерский воздух. Он не был еще теплым, но уже ощущалось в нем что-то незимнее, пьянящее.

Возможно, этот воздух опьянил и Исидора – настолько, что он даже произнес тост. Слов его я не помню – не думаю, что они были очень яркими. Когда все выпили, Чагин вдруг предложил дать ему любой текст для запоминания.

На одном из столов лежал статистический отчет по Смоленской губернии за 1912 год. Мнемонист предложил присутствующим выбрать страницу и ознакомился с ней в течение тридцати секунд. Потом передал книгу соседу по столу – и повторил всю смоленскую статистику. Последнее слово переносилось на следующую страницу, и в исполнении Исидора прозвучал лишь первый его слог.

В наступившей тишине было слышно, как от порывов ветра на столах трепетали бумаги. Трепетали и молодые коллеги Чагина, ничего подобного не видевшие. Слабо пахло дегтярным мылом, и для всех это был запах тайны. Вскоре Исидор попрощался и ушел. Больше подобные эксперименты не повторялись, да иначе и быть не могло, потому что тайна не должна становиться повседневностью.

Однажды я услышал, что свой удивительный дар Исидор в конце жизни потерял. И тогда мне вспомнилось, что уже тем весенним вечером перед лицом смоленской статистики он обнаружил некоторую неуверенность. В памяти это осталось только потому, что за моей спиной кто-то прошептал, что Акела промахнулся. Да, Чагин действительно допустил ошибку. Говорю я (ха-ха!), который не способен запомнить даже трехзначного номера автобуса.

* * *

Через день после похорон я сидел в Исидоровой квартире на Пушкинской улице. Мансарда в бывшем доходном доме. Я в гостях у Исидора – возможно ли это? Оказалось, возможно. После его смерти.

В комнате Чагина стеллажи занимали три стены из четырех. Четвертая, внешняя – это, собственно, полстены: на уровне груди она переходила в скошенный потолок с врезанным в него окном. На стеллажах стояли книги и коробки, преимущественно из-под обуви фабрики «Скороход». Сама комната тоже напоминала коробку – такая же маленькая и невыразительная.

Прихожей не было: входная дверь одновременно служила дверью в комнату. Справа от входа была еще одна дверь. Казалась вырубленной среди стеллажей. Вела к крошечным туалету и ванной. Кухня тоже отсутствовала. Ее (по мере возможности) представляла двухконфорочная электроплитка на высокой табуретке с прильнувшим к ней обеденным столом. Который служил одновременно и письменным. Несколько тарелок разных мастей и чашка держались на нем маленькой пестрой группой. Еще одна большая чашка с отбитой ручкой стояла особняком: в ней помещались ложки, вилки и нож.

Железная кровать. Я приподнял матрас, под ним – панцирная сетка. Легкое разочарование: хотелось чего-то другого. Гвоздей, допустим – как и положено аскету. Подошел к окну: ограниченный вид на Пушкинскую улицу. Проржавевший водосточный желоб закрывал половину проезжей части, зато полностью был виден Пушкин. Первый в городе памятник Пушкину. Маленький, но первый: всё начинается с малого. Представив себя Исидором, навалился грудью на подоконник, коленями почувствовал горячий чугун батареи.

Да, именно так он здесь и стоял – Исидор, светило архивного дела. Приветствовал солнце русской поэзии. Смотрел, как по дну водосточного желоба, желтого от листьев, бежит вода. Нашупывал коленями рёбра батареи. Есть на коленях точки, на которые приятно нажимать. Которые приятно обжигать. Расположены на внешних сторонах коленных суставов, отзывчивы к жару и жесткости.

Отчего-то мне кажется, что эти точки целебны, что, воздействуя на них с разной силой, можно вылечить любой орган. Ну, почти любой, уж такие это точки. Нужно будет, думалось, посвятить им публикацию. Назвать их точками Мещерского, сколотить состояние и уйти из Архива навсегда.

Стыжусь нахлынувших мечтаний. Это было бы предательством по отношению к Исидору и его коробкам – даже если учесть, что точки Мещерского изменяют жизнь многих. Ладно, пусть потерпят. Пусть, я считаю, прочувствуют, каково им было без этих точек.

Открыл первую попавшуюся коробку: фотографии. Исидор на фоне Клодтовых коней – чуть ссутулившись, в руке потертый портфель.

Представил себе Исидора укрощающим коня. Портфель аккуратно положен сбоку, узловатые пальцы сомкнулись на узде. Ноги широко расставлены, голова запрокинута. Мимо проезжают «Москвичи» да «Волги», на заднем фоне, у дворца Белосельских-Белозерских – бочка с квасом...

Нет, без портфеля – это не Исидор. Одной рукой сжимает узду, а в другой все-таки держит портфель. Пусть на его могиле поставят такой памятник. Ленинградский архивист, укрощающий природные стихии.

Снимки на незнакомых улицах. В белых рамках (накладывали стеклянные прямоугольники) всюду написано: «Иркутск».

Исидор со связкой шаров на демонстрации. Первомайской, должно быть: все одеты легко, хотя и в фуражках – по моде того времени. Маленький Исидор тоже в фуражке. В том, что это май, нет никаких сомнений: на деревьях клейкие листочки. Даже сквозь черно-белую фотографию проступает их яркая зелень. Воздух полон света. И свеж – это очевидно. Мать держит Исидора за руку. Ни на одной из его детских фотографий я не увидел отца.

Коробка «Документы». Справки из иркутской детской поликлиники. Похвальные грамоты за каждый класс. Наш Исидор, похоже, ничего не выбрасывал, всегда был архивистом. Школьные дневники: четверки и пятерки. Имеются учительские замечания. *Болтал на уроке русского языка. Или: забыл дома пенал. Исидор болтал, и уж совсем невероятно: забыл.* Впрочем, это не помешало ему получить аттестат зрелости, которым, похоже, и заканчиваются бумаги его школьных лет.

Открыл соседнюю коробку – на внутренней стороне крышки написано: «Дневник». Знаменитый Дневник, о котором все знали и которого никто не видел. Четыре общие тетради, исписанные мелким каллиграфическим почерком. Этот почерк знаком мне по архивным описаниям. Характерная странность: буквы слегка наклонены влево. Напоминают построенные вертикально в ряд костяшки домино в минуту их цепного падения. Но буквы Исидора не падают. В своем неустойчивом положении они навеки замерли на расчерченных в клетку листах.

Записи открываются 1 января 1957 года. Исидор ведет их, не пропуская ни дня. Очевидно, он взял себе за правило (Чагин – человек правила) писать ежедневно – пусть даже по две-три строки. Но короткие записи – это, скорее, исключение. Ему всегда есть что сказать: если нет событий, Исидор описывает свои мысли и ощущения. Особенно ощущения.

Гимнастическая скамейка в спортивном зале. Распластавшись на ней, так приятно скользить. У Исидора дома нет предметов с подобными свойствами. Доски пола? Но они нечисты, и кроме того – в сучках. Здесь же – без сучка, что называется, без задоринки. Апофеоз скольжения, окончательная победа над трением. Но. Если снять тенниску, волшебство кончается. Голая кожа не скользит, прилипает к полированному дереву, издавая визжащий немзыкальный звук.

Характерный для покойного старомодно-канцелярский стиль: *как представляется, коль скоро, следует признать*. Слабость к церковно-славянскому: *притча во языцех, паче чаяния*.

Первая запись: «Могут спросить: для чего, обладая феноменальной памятью, ты решил вести Дневник? Отвечу так: память лишь воспроизводит события, а Дневник их осмысливает. Если подходить к делу ответственно, то писать надлежит в утренние часы, пока мозг свеж».

Еще раз скольжу по строкам глазами. 1 января... Сколько себя помню, утром этого дня никогда мозг мой не был свеж. А парню, между прочим, семнадцать. Успел, судя по тексту, выпить чая – и пишет, подходя ответственно.

Я бы тоже выпил чая. На Исидоровом столе – электрочайник. В ящиках стола нашел пачку индийского чая и ситечко на цепочке. Берешь его за кольцо, а оно интересно качается, как какой-нибудь тебе маятник Фуко. Засыпал чай в ситечко, погрузил его в чашку и залил кипятком. Четыре тетради; сколько это, интересно, в издании – том, два? Впрочем, до публикации их надо еще изучить.

Чай продолжал насыщаться цветом. Пользуясь свободной минутой, я направился к дверям деревянной походкой Исидора. Негнущиеся ноги, руки прижаты к туловищу. Открыл дверь (как бы вошел). Строг и неподвижен, голос скрипуч.

– Изволите хозяйничать, Мещерский? Пьете чай без спроса? Что называется, ничтоже сумняшеся...

Перебежал к своему месту у стола и ответил, опустив голову:

– Скорей уж не мудрствуя лукаво, Исидор Пантелеевич... Но согласитесь, что, используя ваши запасы и листая Дневник, я в каком-то смысле пью чай вместе с вами.

Я продел палец в кольцо ситечка, и оно марионеткой запрыгало в глубинах чашки.

– Видите ли, Исидор Пантелеевич, наш директор, поручив мне заниматься вашим архивом, не озаботился снабдить меня чаем. Ну, просто забыл, понимаете? В силу занятости упустил, как говорится, этот момент из виду.

Исидор (почему-то голосом директора):

– Так ведь не упустил, Пал Сергеич. Несмотря на свою занятость, как раз таки принес.

Я поднял голову – на пороге действительно стоял директор. С чаем и овсяным печеньем в целлофане. Он бросил мне печенье, и я поймал его с хрустким звуком.

– Руки у меня теперь заняты, – сказал я, – так что чай, Аскольд Романович, пожалуйста, не бросайте.

Директор кивнул:

– В этом, строго говоря, нет необходимости. – Закрыв дверь, он положил чай на стол. – Милейшее представление – как жаль, что я вас прервал. И часто вы так?

Улыбнулся.

– Зависит от того, чьи бумаги. – Я покрутил головой, как бы демонстрируя кругозор. – От характера, так сказать, материала... Да и просто от настроения.

Освободив большую чашку от ложек и вилок, наполнил кипятком и ее. Ловким движением перебрал в нее ситечко. Мы молча ждали, пока чай заварится и в ней. Слушали, как усилившийся дождь барабанил по крыше.

Гость пил чай из чашки с ручкой, а вот мою чашку так просто было не взять. Пальцы скользили по горячей гладкой поверхности, на сколах ручки – шершавой. Мне оставалось только ждать, когда чай хоть немного остынет.

– Я всё пытался представить себе, – надкусив печенье, директор отпил чая, – как выглядело жилище этого необычного человека.

– И как же, Аскольд Романович?

Директор сделал громкий глоток и встал.

– Именно так я его себе и представлял. – Он подошел к двери. – Да, главное. Ввиду небольшой ценности этого жилья его, возможно, передадут Архиву. В качестве, ну, как бы, подсобной площади. Так что предварительный разбор бумаг можете спокойно производить здесь.

Он втянул ноздрями воздух:

– Спа-кой-на.

Когда этот энергичный человек ушел, я (вздыхнув с облегчением) растянулся на кровати поверх покрывала. Панцирная сетка скрипела при каждом движении. Я представлял, как под этот скрип проходила жизнь Исидора.

А может, скрипа и не было. Скорее всего, Исидор просто не шевелился. Лежал себе – руки вдоль тела или, допустим, сложенные на груди. Возможно, что даже и не дышал – на него это так похоже.

– Можете спа-кой-на работать здесь, – повторил я голосом директора. – Как, впрочем, и качаться на панцирной сетке – это ваше право.

Покачавшись на кровати, я встал. Ответил собеседнику прохладно:

– Я всегда спокоен, Аскольд. – Величавый отпускаящий жест. – Сегодня, Аскольд, вы мне больше не нужны.

* * *

Вернувшись вечером домой, я объявил, что переселяюсь на служебную площадь. Сказал это после ужина, поскольку проблемные заявления лучше делать после еды. Так они лучше воспринимаются. Мать уже убирала со стола посуду, отец направлялся на балкон курить, сестра Маргарита несла из своей комнаты тарелку с несъеденным пловом. Маргарита, трудный подросток, всегда ест в своей комнате. Точнее – не ест, потому что худеет.

Фраза моя прозвучала буднично, как-то даже очень спокойно, отчего впечатление только усилилось. Отец прикрыл балконную дверь, мать поставила посуду на стол, а Маргарита застыла на пороге кухни со своим пловом. Собственно, я не планировал всерьез уходить – хотел только сказать об этом. Но, сказав, подумал, что, может быть, и в самом деле уйду.

– Тебе что, с нами плохо? – спросила мать.

– Хорошо... Не хочется тратить времени на дорогу.

– Всё естественно, – сказал отец. – Парень стремится к независимости.

Ему хотелось курить, и он щелкал зажигалкой.

– Я тоже стремлюсь к независимости, – сообщила Маргарита.

– Мне двадцать девять, тебе – пятнадцать, – напомнил я сестре. – Всё, что ты можешь делать, это ужинать в своей комнате.

Маргарита замахнулась на меня тарелкой, и плов с нее плавно съехал на пол. Мать показала Маргарите на стоящий в углу веник, но та не шелохнулась.

– Птенцы покидают гнездо, – от долгого щелканья сигарета отца зажглась сама собой. – Процесс грустный, но неизбежный.

Он выпустил дым в полуприкрытую дверь балкона.

– Побереги мудрость, – сказала мать. – Лучше подумай о том, что происходит с детьми.

– Всё нормально, мам, – успокоила ее Маргарита. – Он нашел себе архивистку.

Внимательный взгляд матери.

– Правда?

– Оренбургский пуховый платок. – Маргарита зябко повела плечами. – Колечко с камеей.

– Это лучшее, что может быть, – отец сделал еще одну затяжку.

Я кивнул. С этим нельзя было не согласиться.

* * *

Я все-таки переехал к Исидору. Спросил для порядка разрешения у директора, взял постельное белье, кое-что из необходимого – и переехал. Директор расценил это как тягу к полному погружению в материал. Крайнюю, что ли, степень исследовательского интереса: человек ночует на работе. Такое объяснение мне не приходило в голову, но возражать я не стал. В конце

концов, в этой мысли ничего плохого не было. Теперь у меня были все условия для занятий наследием Чагина, и в первую очередь – его Дневником.

Прежде чем вести ежедневные записи, Исидор дает краткий очерк детства. Вспоминает, какой невкусной была еда в детском саду. Манная каша, вся в комках, успевала остыть, еще не добравшись до стола. Пшенная каша, наводя на мысли о песке, хрустела на зубах. Окаменевшие брусочки свеклы в борще. Слипшиеся, словно покрытые слизью макароны. Желеобразный кисель с застывшей пленкой наверху. Упреждая возможные протесты, воспитательницы говорили, что в голодные годы у людей не было и такого. Этим людям Исидор тайно завидовал.

Требовалось всё доедать до конца. Выходя из-за стола, каждый должен был показать пустую тарелку. Тарелки – тяжелые, щербатые, без рисунков. Показывал свою тарелку и Исидор, а потом, зайдя в туалет, выплевывал то, что не смог съесть и держал за щеками. В туалете пахло хлоркой. Любопытно: Исидор пишет, что, включи они в столовой какую-нибудь музыку, он смог бы даже *это* доесть до конца. С музыкой еда хоть частично получала бы приемлемый вкус, потому что хорошая музыка – вкусна.

Исидору купили шаровары. Даже в то далекое время, когда одежде большого значения не придавали, было видно, что они недопустимо широки. Бабушка вывернула их наизнанку и, собрав лишнее, прострочила изделие на «Зингере». Она не хотела тратить черные нитки, которые и так недопустимо быстро расходовались. Использовать благоразумно решила оранжевую нитку, поскольку изнаночной стороны всё равно ведь никто не видит.

В детском саду у Исидора спросили, что означают сборки сзади на его шароварах. Сборки же означали единственно то, что шаровары надеты наизнанку: бабушка забыла вывернуть их обратно. Дети смеялись над необычным фасоном шаровар, особенно над оранжевой ниткой, а Исидор стоял, прислонившись к печи спиной, чтобы злосчастные сборки не были видны. Но их уже все успели увидеть, и оттого, что Исидор их скрывал, детям было только смешнее. Он чувствовал шершавость кафеля и жар печи, но в еще больший жар его бросал стыд перед детьми. «Дети – злы», – записывает в конце рассказа Исидор.

Поездка с матерью в Москву. День, проведенный в парке Горького. При входе в парк мать купила ему эскимо, обертку от которого он сохранил. Затем они катались на карусели. Исидор описывает катающихся. Его воображение почему-то поражает то, как свободный полет сочетается в карусели с полной зависимостью от цепи. Мне показалось это хорошим символом: полет и цепь. Никаких таких сопоставлений Исидор не делает.

Катались на колесе обозрения, смотрели на Москву. Заходили в комнату смеха. Смеялись. Качались на качелях-лодочках. На настоящих лодках плавали по пруду. В скобках указывается стоимость всех билетов. Не думаю, что Исидор был меркантилен: его интересовала цена радости.

Елка в иркутском Доме пионеров. Дед Мороз предложил Исидору прочитать стихотворение, но мальчик его почему-то не прочитал. Тогда вместо него вышла девочка со стихотворением «Ленин и печник». Она прочла его без запинки и с выражением. В заключительной фразе («Да у Ленина за чаем засиделся, – говорит...») перешла на крик и разрыдалась.

Когда Дед Мороз спросил, почему она плачет, девочка ответила, что просто ей жалко Ленина. Доброго и беззащитного – жалко. Который то и дело всех прощал, включая неблагодарного печника. Дед Мороз сочувственно кивнул: Ленин запросто ведь мог сдать печника в ЧК (недаром эти слова рифмуются) или в частном порядке сжечь его в той же, допустим, печке... Рука деда в меховой рукавице описала эллипс и, нырнув в мешок с подарками, преподнесла девочке елочный шар с нарисованным на нем зайцем.

– Это от Ленина? – спросила девочка.

– Да. В каком-то смысле, – ответил, подумав, Дед Мороз. – Тут радоваться надо, а не плакать.

– Я плачу оттого, что Ленин умер, – она вытерла слезы. – Или он не умер?

Дед Мороз погладил девочку по голове.

– Умер, конечно, но как бы не совсем. Способен, как видишь, делать разные мелкие подарки.

Исидор тоже заплакал: он вспомнил печь в детском саду. Он плакал всякий раз, когда ее вспоминал. А еще ему было обидно, что он не получил игрушки. Он знал это стихотворение – в СССР его знали все, – так почему же он его не прочитал? Мальчика никто не утешал, поскольку плакал он беззвучно.

Мысленно отмечаю, что в раннем возрасте ничто не говорит о феноменальной памяти Исидора.

Как звали Исидора в детстве? Неужели Исидором? Сидором? Какое-то же должно было быть у него детское имя. А может, и не должно. Трудно представить Исидора с иным именем – даже в детстве. Он был так непохож на других, что именоваться ему надлежало как-то по-особенному. Мысль дать ребенку такое имя принадлежала, кажется, его отцу. Чагин-старший прожил с семьей недолго. К такому отцу можно относиться как угодно, но перед тем как уйти в неизвестном направлении, этот человек подарил сыну две важнейших вещи: жизнь и имя.

В Дневнике подробно описываются школьные годы – вплоть до особенностей парт (сту- чали при вставании) и надписей, вырезанных перочинным ножом под откидывающимися крышками.

В восьмом классе Исидор влюбляется в Лену Цареву, сидящую с ним за одной партой. Он вспоминает все ее случайные прикосновения, которые неизбежны при таком тесном соседстве. Ее слова. Кому-то они могут показаться малозначительными. Но не Чагину.

– У тебя нет запасной ручки?

– Есть, – ответил Исидор.

Затем следует подробное описание раздумий Исидора о том, правильно ли он ответил. Может быть, нужно было сказать: *конечно*. Или даже: *a to!* Немудреное *есть* кажется автору ответом банальным и неспособным вызвать ответное чувство.

Когда Лена Царева смотрит на доску, Исидор разглядывает ее ухо. Левое: Царева сидит справа от него. В солнечных лучах оно становится полупрозрачным и розовым. В Дневнике подробно описано, каково ухо на просвет и как оно иногда скрывается за прядью волос. Влюб- ленный мысленно касается его губами.

Исидору хочется проводить Лену домой и нести ее портфель, как он видел это в кино- фильмах. Как это делали некоторые из его одноклассников. Правда, такие пары дружно высме- ивались как *жених и невеста*, при этом рифмы ради упоминалось тесто. Боясь, что его и Лену также назовут женихом и невестой, Исидор отказывается от своего намерения. Он пред- ставляет себя и Лену сидящими перед раскатанным бабушкой тестом. Изначально оно было бесформенной массой, но превратилось в большую тонкую лепешку с неровными краями. Бабушка деликатно уходит, и пара (вот она, интимная сторона брака) отщипывает от лепешки кусок за куском. Доля жениха и невесты незавидна, поскольку сырое тесто – не ахти какой деликатес.

На этом детские воспоминания оканчиваются. Судя по всему, о любви Исидора Лена Царева так и не узнала. Или узнала? Интересно, что думала об Исидоре Лена – не могла же она не заметить его чувства. Каким он остался в ее памяти? Да и жива ли она вообще?

Когда я уже подумал, что составил о детстве Чагина более или менее полное представле- ние, то тут, то там на полках стали возникать новые коробки с бумагами и фотографиями. Они именно что возникали – там, где прежде их вроде бы не было. В одной из коробок я нашел обертку от эскимо: плотная бумага, в центре – пингвин. Внутренней стороны обертки я кос- нулся языком. Сладость ее ушла. Как уходит, подумалось мне, сладость пережитого.

* * *

В первую же ночь моей жизни у Чагина по крыше мансарды кто-то ходил. Было слышно, как под ногами неизвестного прогибаются листы кровли. Я выключил свет и посмотрел в окно. Оно не было темным. В нем клубился питерский туман, отражавший свечение города.

В мерцающем прямоугольнике окна появилась фигура. Припав к стеклу, всматривалась в мрак комнаты. Я не шевелился, потому что каждое мое движение сопровождалось бы скрипом пружин. Кто это был – злоумышленник? Тень Исидора? Лена Царева? Но ведь Лене должно быть под восемьдесят – возраст, прямо скажем, не руферский. Да и зачем ей это? Сосредоточиваясь, закрыл глаза. Зачем?

Ну, не знаю... Пришла, например, попросить ручку. Заодно – почему нет? – упрекнуть одноклассника в отсутствии смелости. Сказать, что жизнь могла бы сложиться иначе, решишь Исидор ее проводить. А портфель – он до сих пор в ее руке, ни на минуту не выпускала, всё ждала. Влюбленные медленно удаляются по крыше. В Исидоровой руке – Ленин портфель.

Встал утром с тяжелой головой. Думал о фигуре в окне. О том вообще, хочу ли я здесь оставаться. Не хочу. При этом возвращение домой тоже не было большой радостью. Родители еще ничего, но Маргарита... Я по-настоящему устал от непростого ее взросления. Всё так. Но здесь, в Исидоровой квартире, я почувствовал к домашним едва ли не нежность.

Может, и в самом деле вернуться?

В дверь позвонили. Помня о ночной фигуре, я прильнул к глазку. Перед дверью стояла Маргарита. Когда я открыл, она показала глазами на комнату.

– Ты один?

– Один.

– Жаль. – Войдя, Маргарита положила на стол бумажный пакет. – Мать передала. Завтрак архивиста.

Я зашел в ванную набрать воды в чайник. Сквозь шум струи из комнаты пробило ритмичное лязганье панцирной сетки.

Вернулся. Молча наблюдал, как Маргарита, сидя на кровати, болтала ногами. Сказал:

– Хорошо скрипишь.

Она кивнула. Мать будто бы хотела привезти завтрак сама, но оказалось, что у нее, Маргариты, дела на Невском – отчего же не заехать? Отчего не поскрипеть, если уж выдалась такая возможность?

Никаких дел на Невском у моей сестры, конечно, не было. И не думаю, чтобы мать стала передавать мне завтрак. Просто позавчера Маргарита придумала архивистку, а сегодня пришла на нее посмотреть.

Я достал из пакета пару уродливых бутербродов.

– Твоя работа?

– Нет, ресторан «Метрополь». – Маргарита рывком встала с кровати и выглянула в окно. – Здравоешься с Пушкиным по утрам? Наша бедная лачужка... Чаю можешь мне налить, а есть я не хочу.

Она прошлась по комнате и заглянула в ванную.

Улыбнулась:

– Обстановка полулюкс.

– Это не ты вчера ходила по крыше?

Сейчас я был почти уверен, что ходила она.

Маргарита отпила чая.

– Насыщенная у тебя жизнь. По крыше ходят. – Ее рука прохладно коснулась моего лба. – А она у тебя случайно не поехала, крыша-то?

- Кто-то ходил и заглядывал в окно.
- Поклонницы. Поклонницы-архивистки.
- Нет, это не она: я знаю, когда она врет.

* * *

В одной из коробок я обнаружил свидетельства студенческой жизни Исидора: конспекты лекций, четыре курсовые работы и одну дипломную. Чагин, оказывается, учился на философском факультете. Наш Исидор – философ. Первая его курсовая называлась «Марксистско-ленинское понимание памяти».

Она пестрела множеством сносок. Очевидно, это был черновой вариант работы, потому что некоторые сноски остались не раскрыты. Не проставлено, к примеру, авторство цитаты «Материалистический подход к человеческой памяти наглядно демонстрирует, что важнейшее ее свойство – запоминать». Найти источник высказывания Исидору не удалось. На полях – догадка: «Маркс и Энгельс?» И ниже, другим почерком (научный руководитель?): «Ленин и Печник?» Это можно рассматривать как свидетельство популярности стихотворения, а также, пожалуй, того, что в пору учебы Чагин вращался в среде умеренно вольнодумной.

В выборе темы впервые обозначился интерес Исидора к памяти. Судя по дальнейшим курсовым, этот интерес не ослабевал. О связи темы работ Чагина с собственной жизнью говорится и в его Дневнике. Он описывает странное свойство своей памяти, о котором раньше не задумывался: способность запоминать большие объемы текста. «Интересно, – пишет Исидор, – это свойство было у меня всегда, и я его попросту не замечал? Или же это свойство я не замечал единственно потому, что такового не было?» Действительно, интересно. Уж если сам Чагин не мог ответить на собственный вопрос, то я – тем более.

Этот вопрос возникает у Исидора на втором курсе, когда им была написана работа «Разоблачение буржуазных философских представлений о памяти». Неожиданным образом на защите рецензентом был разоблачен сам автор курсовой: работа дословно повторяла фрагменты книги с тем же названием. Автором ее был факультетский профессор Спицын, также присутствовавший на защите.

Когда Исидору сказали, что он переписал исследование Спицына, автор курсовой не согласился. Рецензент помрачнел и поинтересовался, уж не из головы ли взял Чагин этот текст. Исидор отвечал, что – да, из головы. Рассердившись не на шутку, рецензент попросил его изложить хотя бы приблизительно то, что читалось в предисловии к курсовой.

Чагин не стал излагать приблизительно. Слово в слово он произнес свое предисловие, оказавшееся по стечению обстоятельств заодно и предисловием к книге Спицына. Рецензент ткнул пальцем еще в одно место курсовой, и Чагин воспроизвел его с такой же точностью. Когда изумленные профессора спросили у Исидора о причине полного совпадения двух работ, он простодушно ответил, что текст, хранящийся в его памяти, случайно принял за свой. Из этого сделаем осторожный вывод, что раньше удивительные способности Чагина никак не проявлялись и к их возникновению автор курсовой оказался просто не готов.

Как бы то ни было, история закончилась для Исидора благополучно. Рецензент уже вдохнул, чтобы заклеить плагиатора, но слово неожиданно взял декан. Он призвал присутствующих не судить автора строго за несамостоятельность и указал, что в каком-то смысле было бы хуже, если бы в области буржуазных теорий студент начал мыслить самостоятельно. Ему, декану, было хорошо известно, к чему это приводит. Юноша не стал гнаться за оригинальностью и воспользовался книгой – не самой, возможно, интересной, не самой, возможно, глубокой, но (декан взвесил книгу Спицына на ладони) идеологически взвешенной.

«Мне показалось, что декан не любит Спицына», – записывает в Дневнике Исидор.

Мне тоже так показалось. Удивляло лишь то, что явный случай плагиата остался (по крайней мере, в изложении Исидора) без внимания. Выражаясь словами декана, взвешенность победила оригинальность, и в каком-то смысле это было идеалом философского исследования тех далеких лет.

После защиты общение Исидора с деканом продолжилось. Тот вызвал Чагина и, вручив ему машинописную страницу, попросил прочитать ее и воспроизвести. Это был фрагмент его, декана, выступления на философском конгрессе. Когда Чагин, прочитав страницу, немедленно изложил ее слово в слово, декан попросил его прочитать еще одну страницу. Текст был воспроизведен с не меньшей точностью.

Войдя в раж, декан спросил, а смог ли бы Чагин повторить весь доклад, на что тот ответил, что смог бы. В течение получаса он читал этот не слишком философский текст и затем произнес весь доклад без малейших отклонений. Потрясенный таким необычным явлением, декан молча обнял Исидора и отпустил на лекцию.

Через несколько дней приглашенный деканом профессор древнегреческого языка предложил Чагину запомнить две страницы «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, и он запомнил. Не зная греческого, Исидор не смог этот текст произнести, зато написал его без единой ошибки, со всеми надстрочными знаками.

Пару месяцев спустя декан, сопровождавший комиссию из Москвы, встретил Исидора в факультетском коридоре. Появившись, он спросил, помнит ли еще Чагин его доклад. Исидор помнил. Прочтя первую страницу, он остановился, полагая, что этого достаточно, но декан попросил его читать дальше.

Постепенно их окружили студенты и преподаватели, а декан всё не перебивал Чагина, и в глазах его стояли слёзы. Московская комиссия в изумлении смотрела то на Чагина, то на декана. Когда прозвучала заключительная фраза, председатель комиссии пожал декану руку. Обратившись к другим членам комиссии, он сказал:

- Как это прекрасно, товарищи, когда студенты знают доклады своих деканов на память!
- У настоящей науки свои традиции, – отозвались товарищи.

Раздались овации. Среди аплодировавших декану стоял и профессор Спицын, на чьем лице общее воодушевление не отразилось. Когда комиссия продолжила свой путь, декан на минуту задержался.

- А вы, Никита Глебович, знаете мой доклад на память? – спросил он у Спицына.

Шутке начальника Спицын улыбнулся. В это трудно было поверить, но на память доклада он не знал.

Через неделю декан философского факультета был назначен ректором университета. Через две недели Спицын был уличен в десятиминутном опоздании на лекцию и уволен за прогул.

Рассказ о неожиданном возвышении декана завершается у Исидора неподдельным сочувствием Спицыну. В драматическом повороте его судьбы Чагин видит и свою долю вины. Он также спрашивает себя, был ли вопрос декана шуткой.

* * *

С коробками, касающимися университета, я возился довольно долго. Описание – работа кропотливая и может показаться скучной. Она и в самом деле скучная, зато – успокоительная. Напоминает вязание. Каждый документ – единица хранения, его требуется детально расписать, пронумеровать страницы и внести в общий перечень содержимого. При этом, как и в случае с вязанием, можно думать о чем-то своем. Главное – не вспоминать об общем количестве документов, иначе можно прийти в отчаяние. Нужно описывать бумагу за бумагой, отдавшись процессу и не думая о результате. Как любил повторять Исидор: глаза боятся – руки делают.

В последующие ночи я не слышал шагов на крыше. Удивительно, но я о них совершенно забыл. Может быть, думал я, они мне тогда послышались? Я уже почти жалел о том, что шаги больше не звучали, – это вносило в тихое мое архивное существование какую-то загадку. Позволяло думать о том, что в жизни архивиста могут быть свои опасности.

Дневник Исидора почти ничего не говорит о его однокурсниках. Создается впечатление, что Чагин ни с кем не сближался. О переменах в его жизни свидетельствуют скорее фотографии. К студенческому времени относится снимок на Аничковом мосту, где Исидор – настоящий денди. Такие же фотографии были сделаны в Павловске и Петергофе. Кто его снимал? Сведений на сей счет Дневник не дает.

К этому времени относится начало дружбы Исидора со Спицыным. Вскоре после увольнения профессора Чагин узнал в деканате его телефон и позвонил ему со словами поддержки. Попросил разрешения прийти. Спицын был удивлен, но разрешил. Далее следует описание похода к Спицыну.

Уволенный преподаватель жил в коммуналке на 7-й линии Васильевского острова. Исидор знал этот дом. Когда-то в нем помещалась знаменитая Аптека Пеля, которая теперь была просто аптекой № 13.

Войдя в комнату Спицына, Исидор безошибочно уловил кисловатый запах неблагополучия. Судя по насыщенности запаха, возник он здесь давно и с увольнением профессора связан не был. Жилище Спицына было царством книг. Часть их стояла в дубовом шкафу, остальные лежали неправильной пирамидой на полу. Книги из шкафа Чагин перечисляет в порядке их расстановки. В полном соответствии с тем, что читалось на корешке, порой приводится лишь название, без указания автора. В нише между шкафом и стеной тускло блестели пустые водочные бутылки.

В центре комнаты помещался круглый обеденный стол, половина которого тоже была завалена книгами. Следуя жесту Спицына, Исидор сел в одно из двух кресел, стоявших по разные стороны стола. В другом кресле разместился хозяин.

Ко всему случившемуся профессор отнесся философски. Свою беседу с ним Исидор не пересказывает. Он облачает ее в форму диалога и приводит полностью. С точки зрения литературной техники, решение, без преувеличения, убийственное. В этот диалог включены все повторы, междометия и слова-паразиты. Но Чагин – не писатель, он – мнемонист, и в данном случае мало чем отличается от диктофона. Что важно: Исидор был способен запоминать не только письменную речь, но и устную.

Слушая Спицына, он думал, что профессор, в сущности, гораздо интереснее своей книги. Занятия буржуазными теориями особого философствования не предполагали. О том, что излишняя самостоятельность в этой сфере подозрительна, Спицын, подобно декану, догадывался. В какой-то момент он даже заметил, что в покинутом им университете надежность глупости всегда предпочтут блеску ума. Чтобы фраза не звучала слишком патетически, тут же добавил, что глупость (здесь следовала фамилия нового ректора) тоже бывает блистательной. Было очевидно, что нелюбовь двух философов взаимна. При этом возможности увольнять были у них, конечно, разными.

Когда Исидор попросил у Спицына прощения за плагиат, тот равнодушно махнул рукой. По большому счету, его собственная книга тоже была плагиатом. Пережевыванием того, что и без него десятки лет жевала советская философия.

- Значит, теперь существует две очень похожие работы, – сказал Исидор.
- Самое печальное, – Спицын закурил, – что обе не имеют научного значения.
- Будучи продуктом сознания, они отражают нынешнее, пардон, бытие.

Эту фразу Чагин произносил уже не в первый раз и, как ему казалось, не без успеха. Во взгляде Спицына он увидел лишь удивление.

– А вы, получается, считаете, что бытие определяет сознание? – Профессор раздавил папиросу в тарелке, служившей пепельницей. – Кто вам сказал такую глупость?

Исидор смутился.

– Вы... На лекции.

– Правда? – Спицын криво улыбнулся. – Значит, из университета меня выгнали за дело.

* * *

В конце пятого курса Чагина пригласили к ректору на чай. О мероприятии ему сообщили накануне, и весь вечер он думал об этом приглашении. Исидор прежде не слышал, чтобы кто-то из студентов ректор приглашал на чай. Да, это казалось Чагину удивительным, но что, в конце концов, он знал о жизни ректоров?

Помимо ректора и Исидора в чаепитии участвовали два Николая – Николай Петрович и Николай Иванович. Верный традициям школьных сочинений, Исидор дает их сопоставительную характеристику. Одного Николая от другого отличали отчество и цвет волос (Николай Петрович был чуть светлее), в то время как объединял их цвет глаз – по определению Чагина, грязно-коричневый. Если верить Дневнику, такими же были их плащи и папки. Какой цвет стоит за этим обозначением, сказать затрудняюсь. Может быть, и не цвет даже, а общее негативное отношение мемуариста.

Николай Петрович говорил негромким бархатным голосом, голос же Николая Ивановича был значительно сильнее и как бы brutальнее. Материал для его описания Чагин подыскивает с трудом. О бархате, по его мнению, здесь не могло быть и речи. В конце концов он останавливается на звуке распиливаемой фанеры, хотя и помещает в скобках знак вопроса.

Что и говорить, фанера в комплекте с brutальностью, да еще и грязно-коричневым цветом – всё это свидетельствует о неблагоприятном впечатлении, произведенном Николаями на Исидора. Но свидетельствует, кажется, и о другом: начинающий мемуарист стремится к яркости. Он не привык жалеть ни красок, ни звуков.

Вообще, Исидор довольно многословен. Словно камера видеонаблюдения, он фиксирует всё, что происходит на его глазах. Так, он описывает очередную просьбу ректора пересказать его, ректора, доклад, восхищение слушателей, затем их попытку остановить пересказ и многократные заверения в том, что сверхъестественные способности студента очевидны. По настоянию ректора его доклад (он не хотел лишить гостей этого удовольствия) был все-таки воспроизведен до конца.

Главным в этой встрече был, однако, не доклад и даже не сходство и различие Николаев. Кульминацией чаепития стал вопрос ректора:

– Исидор, друг мой, куда вас распределили?

– В Иркутск.

Его собеседники покачали головами: далековато...

И тогда Николай Петрович (было ясно, что из двух Николаев он – главный) бархатным своим голосом спросил:

– А вы бы хотели остаться в Ленинграде?

Хотел ли Исидор остаться? Хотел ли?..

– Очень! – выдохнул Чагин. – А что, разве это возможно?

– По слову поэта, – произнес Николай Петрович, – «и невозможное – возможно».

Николай Иванович строго откашлялся и сказал:

– Но это, как говорится, уже отдельный разговор.

Отдельный разговор состоялся на следующий день в номере гостиницы «Европейская». На этот раз чая не было. Когда Исидор и оба Николая сели за стол, официант принес бутылку

«Советского шампанского» и бутерброды с краковской колбасой. Он хотел было открыть бутылку, но Николай Петрович сказал, что этого не требуется.

– Сами умеем, – подтвердил Николай Иванович со значением. – И имейте в виду: мы умеем не только это.

Официант посмотрел на него не без испуга и попросил разрешения удалиться.

– Вы, Николай Иванович, заставили его трепетать, – засмеялся Николай Петрович. – Я бы даже сказал – трепещать.

– Люди должны трепещать. – Николай Иванович поднял правую руку и сжал кулак. – Трепетать и пищать.

– А бутерброды слегка заветрились, – сказал Николай Петрович, меняя тему. – Факт не в пользу заведения.

– Вы – работники общепита? – спросил у Николаев Исидор.

Николаи взглянули друг на друга и рассмеялись.

– Мы – сотрудники Центральной городской библиотеки, – ответил Николай Петрович. – Я представляю в ней Отдел внутренней безопасности, а Николай Иванович отвечает за гражданскую оборону. Сокращенно – ГрОб.

Николай Петрович улыбнулся, но Николай Иванович был уже опять серьезен.

– Николаю Петровичу со всем, как говорится, не справиться. Так что немного помогаю ему и по части безопасности.

– Хобби такое? – уточнил Исидор. – В свободное время?

Николай Петрович потянулся за бутылкой.

– Просто Николай Иванович понимает гражданскую оборону в широком смысле.

– Обороняем граждан от всяких гадов.

Николай Иванович рубанул рукой по столу, и Чагин понял, что библиотека – куда более тревожное место, чем можно было бы ожидать.

Николай Петрович освободил пробку от проволоки и, как бы удушая, обхватил ее ладонью. Пробка несколько мгновений билась в его руке, издавая едва слышное шипение. Когда она затихла, Николай Петрович молча положил ее на скатерть. Над горлышком показалось и растаяло легкое облачко.

– Без хлопка, – констатировал Исидор.

– Хлопки нам не нужны, – пояснил Николай Иванович. – Это дешевый спецэффект.

Исидор вспомнил новогодние ночи в Иркутске. Он рассказал Николаям, как прекрасны летающие пробки, вслед за которыми извергается струя пены. Николай Петрович предложил не путать шампанское с огнетушителем, и на этот раз засмеялись все.

Николай Петрович разлил шампанское по бокалам:

– За наше сотрудничество!

Чокнувшись с Николаями, Исидор выпил бокал до дна и взял бутерброд. Во рту его таяли тонкие ломтики колбасы. Чагин хотел было уточнить характер сотрудничества, но ему было жаль отвлекаться от сказочного колбасного вкуса, и он взял второй бутерброд.

– Вам о чем-то говорит фамилия Шлиман? – спросил Николай Иванович.

– Шпион? – Чагин потянулся за третьим бутербродом. – Звучит по-шпионски.

– Все они, блин горелый, шпионы. ... – Николай Иванович нахмурился. – Шлиман откопал Трою. Но нас, товарищ, интересует не Шлиман, а Шлимановский кружок.

Николай Петрович взял пробку двумя пальцами и некоторое время рассматривал, как бы сожалея, что ей не удалось полетать.

– Мы внедрим вас в этот кружок, – в голосе его сквозила беззаботность.

Николай Петрович метнул пробку в стоявшую на подоконнике хрустальную вазу. Пробка влетела в нее, не коснувшись краев.

– Согласны?

Исидор, возможно, еще бы подумал о том, стоит ли ему внедряться, но точно брошенная пробка развеяла все сомнения. Дробясь в хрустальных гранях, она лежала на дне вазы решающим аргументом. Чагина убедили элегантность и точность броска: вероятно, именно так его и собирались внедрять.

Ответил:

– Согласен.

В безопасности библиотек он не видел ничего предосудительного.

Видимо, согласие Чагина и было целью этой встречи, потому что ничего существенного больше сказано не было.

На следующий день Исидор гулял по городу хозяйской походкой, ощущая себя владельцем Петропавловской крепости и Эрмитажа. Это было сладкое чувство, и он знал, что сейчас не в силах с ним расстаться – чего бы от него ни потребовали Николай. Да, собственно, ничего особенного они и не требовали, утешал себя Чагин. И всё же произнесенное *согласен* родило у него сомнения, которых поначалу не было.

Согласен ли? И если да, то с чем? Исидор почувствовал смутное беспокойство рыбы, заглотившей наживку, в тот краткий миг, когда крючок еще неощутим. Николай Петрович оставил номер своего телефона. Исидор по этому номеру позвонил.

Он подробно описывает телефонную будку у ворот, ведущих к Двенадцати коллегиям. Обилие деталей отражает, так сказать, разлад в душе автора. Это состояние передается посредством рассказа о бездушном телефоне-автомате, который противопоставлен человеку чувствующему. Не то что бы Исидор использовал деталь в качестве художественного приема – он всё так описывает, потому что так запоминает.

Сквозь немытые стёкла телефонной будки Чагин видит, как дружно двигаются машины на зеленый свет. Он слушает короткие гудки, и ритм гудков совпадает с ударами его сердца. Дважды выходит из будки, уступая место другим, пока Николай Петрович наконец не откликнется.

– Я тут дал согласие на внедрение... – начал было Чагин.

– Помню, – перебил его Николай Петрович. – Давайте обсудим это при личной встрече. Исидор помолчал.

– Я хотел узнать, с какой целью меня внедряют.

– Хороший вопрос. Главное – своевременный.

Чагин хотел еще что-то спросить, но Николай Петрович строго сказал:

– Встретимся дня через три.

– Где? – спросил Исидор.

– Мы вас сами найдем, – ответил Николай Петрович и повесил трубку.

Через три дня, выходя из университета на набережную, Чагин увидел обоих библиотекарей. Поздоровавшись, они поздравили его с принятием в штат университета. Исидор хотел было спросить, откуда им это известно, но Николай Петрович с улыбкой показал на телефонную будку:

– Из нее звонили?

Исидор кивнул. Такая проницательность его уже не удивляла.

На этот раз они не поехали в «Европейскую». Чагину была предложена прогулка. Когда Исидор повторил свой вопрос о цели внедрения, Николай Иванович неожиданно взорвался:

– Только не надо строить из себя целку! Вы что, в самом деле ничего не понимаете? Не понимаете, что у библиотек много врагов?

Он посмотрел на Чагина злым продолжительным взглядом и вдруг спросил:

– «Илиаду» Гомера – читали?

Опешив, Исидор ответил, что не читал. Николай Иванович закатил глаза как человек, который мог вынести многое, но не это. Николай Петрович похлопал тезку по плечу. Затем обернулся к Исидору:

– Прежде всего я хотел бы попросить вас ничего не обсуждать по телефону. Телефон – это для экстренных случаев.

– А какие могут быть экстренные случаи? – спросил Чагин.

– Да в том-то и дело, что никаких.

Николай Петрович объяснил, что Исидора просят посещать заседания совершенно безвредного Шлимановского кружка, где речь идет преимущественно о Трое и о том, кто ее раскопал. В целом у Николаев была информация об этих заседаниях, но, пользуясь удивительным даром Чагина, они хотели бы обладать исчерпывающей информацией. Только и всего.

Подойдя к сфинксам, они спустились по лестнице к Неве. Когтистые лапы сфинксов рождали у Исидора неприятные ассоциации. Он спросил:

– Если этот кружок безвредный, тогда зачем за ним следить?

– А чтобы не стал вредным, – сказал Николай Иванович уже спокойно.

Николай Петрович положил Чагину руку на плечо:

– А то ведь, знаете, как бывает: доброкачественная опухоль превращается в злокачественную.

Вверх по течению Невы шел прогулочный катер. Разрезая воду, поднимал такую волну, что было неясно, как вообще он держится на поверхности. Эту картинку автор Дневника также не оставляет без толкования. Он пишет, что чувствовал себя таким же суденышком: его тоже захлестывали волны. Двигаясь за пенным следом катера, взгляд Чагина столкнулся со взглядом Медного всадника. За несколько прошедших дней он уже привык считать его земляком.

– Вы можете загадать желание, – сказал Николай Иванович. – Стоите между двумя, как говорят, Николаями.

Николай Петрович достал из кармана ключи.

– Я знаю, какое желание вы загадали. Так вот, оно уже исполнилось.

Николаи загадочно перемигнулись и немедленно превратились в сфинксов.

Сфинкс Николай Петрович:

– Как молодому специалисту вам выделена квартира на улице Пушкинской.

Сфинкс Николай Иванович:

– Два шага от Невского.

Он произнес это как-то даже обиженно. Чагин молчал. Николай Петрович надел кольцо брелока на палец, и ключи начали тихое вращение. Раскрутив ключи до нужной скорости, Николай Петрович пропел:

– Послушайте, Исидор Пантелеевич. Мы ценим свободный выбор человека. Не хотите помогать библиотеке – мы прямо сейчас и расстанемся. Была без радостей любовь, разлука будет без печали...

– Мы найдем, кому вручить эти ключи. – Взгляд Николая Ивановича опять стал злым. – Короче, вы хотите нам помочь?

– Или вы не хотите нам помочь? – эхом отозвался Николай Петрович.

Исидору казалось, что ключи готовы были сорваться с его пальца и навеки кануть в Неву. А с ними – та ленинградская жизнь, которая его так манила.

– Хочу, – тихо ответил Чагин.

Николай Петрович перестал крутить ключи. Позвонил ими на манер колокольчика и передал Исидору. Вручил также папку:

– Ваше жизнеописание. Выучить назубок.

Исидор хотел сказать, что *всё* прочитанное им знает назубок, но решил, что это было бы хвастовством. А еще ему было непонятно, зачем нужно учить собственное жизнеописание, но он промолчал и здесь. Папку положил в портфель.

Когда уже прощались, Николай Иванович протянул ему две книги для лучшего понимания оперативного материала. Первая из них – биография Шлимана из серии «Жизнь замечательных людей». Вторая – «Илиада».

Расставшись с Николаями, Исидор перешел набережную. Стоял у Академии художеств и наблюдал, как сотрудники библиотеки повернули на мост Лейтенанта Шмидта. Николай Иванович двигался тяжело и косолапо, словно уравнивая собой подпрыгивающего Николая Петровича. Руки Николая Ивановича были прижаты к телу, в то время как Николай Петрович увлеченно жестикулировал. Какими все-таки разными могут быть Николай.

Когда они растворились в толпе, Исидор пошел по набережной. Кто-то невидимый вел его, как после бешеной скачки всадник ведет под уздцы лошадь. Чагин чувствовал себя такой лошадью и удивлялся тому, как быстро эти двое сумели натянуть поводья. Шлимановский кружок... Он не очень понимал, на что дал согласие. А может, и понимал, но не хотел себе в этом признаться.

* * *

Через день Чагин въехал в квартиру на Пушкинской. В ней он только ночевал. Не находил в себе сил покинуть улицы города – так велика была его любовь к ним. Удивляясь своей ненасытности, Исидор утюжил проспект за проспектом, линию за линией. Даже занятия, рассчитанные на домашнюю обстановку, старался перенести в ленинградские скверы. Там, например, он читал врученные ему материалы, которые постоянно носил в портфеле.

Машинописные страницы из папки «Биография» Чагин читал в Румянцевском саду. С первых же строк этого сочинения чувствовалась его необычность. Принимая папку из бестрепетной руки Николая Петровича, Исидор предполагал, что речь идет о его собственной биографии. Дело, однако, обстояло иначе. В этом удивительном тексте чагинскими были только имя и год рождения. Всё остальное напоминало его жизнь в очень небольшой степени.

Это не была биография в строгом смысле слова. Скорее уж фантастический рассказ, героем которого был какой-то человек – условно, Чагин-2, родившийся на окраине Иркутска в семье ссыльного. Он ходил в другой детский сад, другую школу и окончил только семь классов. Рано лишившись отца, устроился учеником токаря на завод. Когда описание школьных лет закончилось, Исидору стало ясно, что в жизни этого человека не было Лены Царевой. Он осознал, что это совершенно другая жизнь.

Биография подробно рассказывала о нищенской обстановке его дома, что в целом соответствовало реальности. А вот самодельных книжных полок в действительности не существовало. У Чагиных-дублеров была хорошая библиотека. Текст умалчивал о том, как все эти книги достались бывшему заключенному, зато прилагался их список. Он включал по преимуществу поэзию и философию Серебряного века, а также русские эмигрантские издания двадцатых – тридцатых годов. Подразумевалось, очевидно, что книги были подарены его отцу другими ссыльными.

Исидор-2 рос пытливым ребенком и, несмотря на запрет матери, время от времени листал стоявшие на полках книги. Влюбившись в поэзию начала века, понемногу начал писать стихи и сам. После смерти матери отправился в Ленинград, где поступил на философский факультет университета. Интерес к философии был также рожден книжными полками отца.

Отложив машинопись, Исидор задумался. Подобно своему двойнику, он рос без отца. Был ли его отец когда-либо в заключении? Ответить на этот вопрос он не мог, потому что отца никогда не видел. Видел его Леонтий, сводный брат Исидора – сын его матери от первого

брака. Мать изредка упоминала о Пантелее Чагине, лице полумифическом, поскольку о судьбе его было мало что известно.

Маленькому Исидору мать говорила об ответственном задании, которое Пантелей будто бы выполняет где-то в европейской части страны. Там, по ее словам, очень не хватало настоящих сибиряков, закаленных и негибаемых. Имя и фамилия отца звучали эпически и рисовали мальчику богатыря, раздвигающего алтайские горы.

Действительность, однако, оказалась сложнее. Первым в героической жизни Пантелея усомнился Леонтий, который был старше Исидора на шесть лет. Воспоминания Леонтия о Пантелее были хотя и смутными, но в целом негативными: отчима Леонтий определял коротким словом *говню*. Он был уверен, что ответственных заданий в европейской части СССР такому бы никто не дал.

По мере взросления Исидора об отцовских подвигах упоминалось всё реже. В конце концов под нажимом сына мать в слезах призналась, что никакого задания не было и что Пантелей бросил ее еще до рождения ребенка. Накануне своего внезапного ухода он произнес загадочную фразу: «Если родится мальчик, имя ему будет Исидор». Стиль высказывания был почти библейским и придавал таинственность небиблейскому, в общем, поступку Пантелея. Мать назвала сына Исидором, хотя имя ей не нравилось: тогда она еще надеялась на возвращение мужа. Когда же стало ясно, что он не вернется, к имени успели привыкнуть.

В дальнейшем о Пантелее Чагине мать и сын не говорили. Лишь однажды она упомянула о хорошей Пантелеевой памяти, которая, впрочем, не помешала ему забыть жену, ребенка и (мать промокнула фартуком глаза) дорогу к родному дому.

Замечу кратко, что эпизодическое упоминание о *хорошей* памяти Пантелея Чагина позволяет дать феномену Исидора генетическое объяснение. Неясно, правда, в чем заключались особенности памяти Пантелея, но то, что они упоминаются, кажется мне важным.

Да, биография Чагина отличалась от той, которую ему предоставили. Выучить текст проблемы не составляло – он уже его знал. Вопрос был в другом: зачем? Только для того, чтобы он происходил из семьи репрессированного? Так, спрашивая и отвечая, Исидор дошел до угла 7-й линии Васильевского острова. Аптека № 13. Он осознал, что это дом Спицына. Почему он здесь оказался?

Первым движением Чагина было войти, но он медлил. Он, владелец собственной квартиры и двух биографий. То, что произошло между ним и Николаями, каким-то образом оказывалось связано и со Спицыным. Эта связь была труднообъяснимой, но очевидной.

Сейчас, когда ноги сами несли Чагина к спицынскому парадному, он чувствовал себя обиженным ребенком. Войдя в парадное, взлетел по лестнице. Словно не к Спицыну бежал, а к Пантелею Чагину – пожаловаться по-сыновнему на обстоятельства. Только вот незадача: Пантелей сам бежал, и притом довольно давно. Как ему пожалуешься?

На лестничной площадке профессора Исидор перевел дыхание. Ну, во-первых: Спицын мало похож на отца. Во-вторых: ничего такого, собственно, не произошло. *Такого* в Дневнике жирно подчеркнуто.

Среди множества звонков у двери Исидор отыскал нужный и позвонил. Извинился за приход без предупреждения. Спицын был явно веселее обычного и как-то опрятнее. В комнате профессора больше не было пустых бутылок, и вообще, как показалось Исидору, в ней прибавилось света.

Он сел в предложенное Спицыным кресло. Осмотревшись, заметил, что в лежащей на полу пирамиде книг появились новые издания. В свойственной ему манере Исидор перечисляет эти книги. Связаны они по преимуществу с психологией памяти.

Чагин показал на новые книги:

– Как хорошо, что вы не пали духом.

– Напротив, духом я вознесся. – Спицын сел в кресло против Исидора. – Можно сказать, летаю.

Профессор смешно взмахнул крылами, и пружины кресла заскрипели.

– А меня вот оставили в университете, – сказал Чагин почти вызывающе. Не отрывая взгляда от книг. – И я пришел сообщить об этом вам.

– Сообщить? – Спицын встал и направился куда-то в глубь комнаты. – Да об этом нужно петь! Подождите, я вам тоже кое-что сообщу.

Исидору почему-то показалось, что профессор всё уже знает. Может, так оно и лучше. Быстрее... Он сжал подлокотники кресла и взглянул на Спицына:

– Вам, Никита Глебович, наверное, кажется...

– Мне кажется, – в руках у Никиты Глебовича была бутылка водки, – что это событие нужно отметить.

На столе появилась трехлитровая банка квашеной капусты. Открыв ее, Спицын подмигнул Исидору и наполнил рюмки. Они чокнулись, и, не донеся рюмку до рта, Чагин спросил:

– Вас не удивляет, что меня оставили на кафедре?

Спицын опрокинул рюмку одним махом.

– Нисколько. Было бы странно, если бы вас с вашей памятью не оставили. – Он зацепил вилкой капусту. – Плохо только одно.

Исидор вопросительно посмотрел на Спицына.

– Что?

– Что кроме капусты у меня ничего нет. А ведь сегодня великий день. Я вам сейчас всё объясню.

То, с чем Исидор пришел к профессору, дымом спицынской папиросы приблизилось к окну и, вытянувшись в синюю змейку, выскользнуло наружу. Спицын меньше всего ждал покаяний, а Исидор больше не собирался каяться. Желание – прошло.

Профессор, оказывается, устроился на работу. Служил он теперь в Первом медицинском институте и занимался проблемами памяти. Взяли Спицына в Первый мед вроде бы читать философию, но изучаемая им тема счастливо соединилась с исследованиями психологов и физиологов.

Первым, о ком вспомнил профессор в Первом меде, был Исидор, чья волшебная память впоследствии явилась миру посредством спицынской книги. В поисках Чагина профессор уже намеревался связываться с Иркутском, как вдруг Исидор (звон рюмок, шлепанье капусты на тарелку) пришел к нему сам. Чагин явился во благовремени: так определил это профессор. Его опьянение сказывалось на движениях, но не на стройности мысли. Готов ли Исидор сотрудничать с ним? Этот вопрос Чагину ставили сегодня уже во второй раз.

Он поднял глаза на Спицына:

– Готов. Без всяких сомнений.

Это было чистой правдой.

Звон рюмок.

Теперь Чагин смотрел в глаза профессору без боязни. Он чувствовал облегчение. Разговор со Спицыным как бы снимал вопрос о законности его попадания в университет и получения квартиры на Пушкинской. Спицын еще продолжал говорить, но слова его больше не достигали ушей Исидора. Кружась осенними листьями, они опускались на книги, стулья и застилали ковром шербатый паркет.

– Листья падают во благовремени. – Исидор вдруг понял, что думает вслух.

– Июнь – время листопада, – глухо отозвался Спицын.

Теперь он сидел, откинувшись на спинку стула, и лицо его было закрыто руками.

– И я пришел во благовремени, – поразился совпадению Исидор.

– Вы могли бы считать себя осенним листом, если бы не ваши мнемонические способности. – Спицын устроил локти на столе и положил на них голову. – Ведь листья ничего не помнят. Ничего.

Перед ним стояли две пустые бутылки. Когда появилась вторая, Исидор не заметил.

– Иногда мне хотелось бы быть листом.

Исидор думал, что говорит это профессору, но перед ним стоял моряк. Он представился Исидору как кавторанг Матвеев. Чагин не знал, что это значит, но слово ему понравилось. Кавторанга покачивало. Оглядевшись, Исидор понял, что находится на Стрелке Васильевского острова. В руке он держал портфель. Стрелка была освещена тем странным светом, который не имеет отношения к дню, но еще менее связан с ночью.

Чагин почувствовал неловкость, как человек, случайно выдавший сокровенное.

– Просто листья не обладают памятью, – пояснил он кавторангу. – Это открытие профессора Спицына.

Во взгляде кавторанга отразилась гордость за советскую науку. Отвечая откровенностью на откровенность, он рассказал Исидору, что в белые ночи на западном берегу Крестовского острова можно встретить закат, а потом, перейдя на восточный берег, через полчаса встретить рассвет. С этой целью он как раз направлялся на западный берег и предложил Чагину составить ему компанию. Они двинулись на Крестовский вдвоем.

Кивнув на портфель Исидора, кавторанг спросил, не водка ли там. Чагин ответил, что книги. Например, «Илиада». Кавторанг тут же вспомнил, что в этом произведении есть список кораблей, который он смог дочитать только до половины. Исидор признался, что даже половины не прочел. Вообще ни строчки. После часа оживленной беседы Чагин заметил, что они идут не туда, но ничего не сказал. Еще через полчаса обнаружилось, что кавторанг исчез.

В конце концов Исидор набрел на станцию «Площадь Ленина» и встретил рассвет в метро. Около полудня Чагин проснулся в своей квартире. Не отказав себе в удовольствии еще раз произнести слово *своей*, он обратил внимание на то, что перед сном успел снять только туфли.

* * *

Книгу о Шлимане из серии «Жизнь замечательных людей» Исидор начал читать в Юсуповском саду. Временами поднимал глаза и смотрел на мамаш с колясками. Дети постарше бегали по гранитному парапету вдоль пруда. Вообще-то Чагин переносил детские крики с трудом, но, читая сейчас о рождении Шлимана в многодетной семье, находил их уместной иллюстрацией к тексту.

Шлиман, Иоганн Людвиг Генрих Юлий, 1822 года рождения. Сын мекленбургского пастора, раздражительного, крикливого и мало, в общем, напоминающего улыбчивых пасторов с рождественских открыток.

Минна Мейнке, детская любовь Генриха. Он проводит с ней всё свободное время и, как хочется верить биографам, рассказывает ей о Трое. Тогда же мечтательный ребенок делает Минне предложение: по достижении нескорого еще совершеннолетия он собирается на ней жениться. Добрая и тихая Минна согласна.

Это обстоятельство производит сильное впечатление на Исидора. «Согласна!» – отмечает он в скобках. Не сомневаюсь, что в этот момент ему вспоминается Лена Царева. История с Минной Исидором излагается, вообще говоря, довольно подробно. Судьба этой пары трагическим образом определяется судьбами других пар.

Жена пастора Шлимана умирает, и он воспитывает детей один. Отец семейства безуспешно борется с нищетой, и как-то так получается, что исчезает крупная сумма казенных

денег. К богатым деньги идут, а у бедных исчезают – и свои, и чужие: обычное дело. Скандал развивается медленно, но неуклонно.

В центре внимания оказывается служанка Шлиманов фройляйн Фикхен, кокетка и модница. Роль ее в этом скандале ясна не до конца. Проблемы, судя по всему, порождены тем, что в гардеробе фройляйн Фикхен неожиданно появляются бархатные платья. Чуткая общественность бьет тревогу, поскольку стоимость платьев не соответствует доходам девицы. А параллельно, ну да, эта странная история с казенными деньгами.

Семейство Шлиманов становится, как сказали бы сейчас, токсичным. Родители Минны запрещают ей общаться с Генрихом. Для него это время глубокой печали и непрестанных слез. Десятилетнего мальчика отсылают в дом дяди Фридриха.

В следующем году Шлиман-младший поступает в гимназию и переезжает в соседний городок, где живет в семье музыканта Лауэ на полном пансионе. Пансион, однако, оказывается не таким полным, как мечталось: семейство Лауэ очень экономно. Из всех чувств у Шлимана в ту пору главное – чувство голода.

В конце концов пастора публично обвиняют в растрате и отстраняют от службы. Потрясенная фройляйн Фикхен покидает пасторский дом. Для учебы Генриха в гимназии больше нет средств, и мальчика переводят в недорогое реальное училище, где ему удастся проучиться два года.

Когда отцовские деньги исчерпываются окончательно, Шлиман оставляет учебу и устраивается на работу в семью деревенского лавочника Гольца. Примерно в это время он случайно встречает Минну, но успевает лишь обнять ее и сквозь слезы обменяться несколькими словами. Эта краткая встреча помогала ему в дальнейшем переносить все невзгоды. Он увидел, что Минна всё еще любит его.

У лавочника Гольца Генрих работает по восемнадцать часов в сутки. Об учебе больше нет и речи, потому что все оставшиеся от работы часы мальчик спит. Собственно, и сама жизнь Генриха похожа теперь на дурной сон, в котором он проводит пять лет.

Шлиману девятнадцать. На борту брига «Доротея» он отправляется в Венесуэлу, но у берегов Голландии судно, по рассказам героя, терпит крушение. Шлиману чудом удается спастись. Он остается в Амстердаме, где устраивается посыльным. Свое скудное жалование Генрих тратит самым причудливым образом: он учит языки, причем на каждый тратит в среднем по три месяца. Исидор перечислил их в соответствии с порядком изучения: голландский, английский, французский, испанский, португальский, итальянский и (привычка к трудностям) русский. Русский Шлиман изучает по «Телемахиде» Василия Тредиаковского.

В 1846 году Генрих Шлиман отправляется в Петербург торговым представителем фирмы «Шредер и К^о». В русской столице немец осваивается довольно быстро и вскоре открывает там собственное дело. К двадцати четырем годам (!) он становится купцом первой гильдии. Ощувив себя триумфатором, Генрих готовится сложить доставшиеся ему лавры к ногам Минны Мейнке. Но... Здесь Исидор использует выражение солдата срочной службы: *она его не дождалась*. Незадолго до предложения Генриха Минна вышла замуж за неведомого господина Рихерса. Купец первой гильдии сражен наповал.

В подробном описании шлимановской юности Исидора больше всего интересуют две вещи. Первая – это, конечно же, отношения с Минной. Исидор пишет о ранних влюбленностях вообще и о своей любви к Лене Царевой в частности. Сравнивая две любовные истории (это сделано не прямо, но сопоставление читается), Чагин как бы завершает давний диалог с самим собой. Он говорит себе, что в расставании со школьной любовью не было, оказывается, большой беды. Очевидным образом он отвечал на важный для него вопрос: не стоило ли ему позднее попытаться сблизиться с Леной Царевой? Нет, не стоило – об этом говорил опыт Шлимана. *Она его не дождалась*.

Едва ли не больший интерес у Чагина, как мне показалось, вызвали страницы, посвященные изучению языков. В этом словосочетании акцент стоял на изучении. Очевидно, Исидор рассматривал этот сюжет как одну из дорожек к пониманию своей удивительной памяти.

Чагин подробно останавливается на диковинном шлимановском методе изучения. Гениальный самоучка Шлиман в этом, как, впрочем, и во многом другом, ни на кого не похож. Он никогда не заучивал отдельных слов – запоминал их в составе высказываний. Потом эти высказывания расширял, ходя вокруг первоначального зерна концентрическими кругами. Наматывал на него новые смыслы и слова.

Примечательно, что Шлиман не занимался с профессиональными преподавателями, и это ощутимо удешевляло занятия. Для перевода слов ему было достаточно общаться с носителем языка. Кстати говоря, носителя русского он не нашел и изучал язык самостоятельно. Повторю: по «Телемахиде». Много бы я дал, чтобы услышать его русский.

Что меня по-настоящему удивило – это сентиментальные строки, посвященные Исидором Шлиману. Речь в них шла о том, что в чудаковатом немце Чагин нашел родственную душу. Да, они были очень разные, но ведь и сам Шлиман был разным – просто какими-то гранями своей личности и биографией напоминал Чагина.

Оба обладали особенной памятью, и опыт первой любви у обоих был печальным. В этих словах мне послышалось что-то из Вертера. Который – так мне всегда казалось – всю свою трагедию придумал сам. Наконец, у обоих было *трудное детство*. Мысль о трудном детстве заставила Исидора вспомнить о врученной ему биографии.

Ложась в один из вечеров спать, я подумал о том, как странно устроена жизнь. Мог ли я еще пару месяцев назад предположить, что буду так живо интересоваться биографиями Чагина и Шлимана? Не мог, ответил себе, засыпая. Конечно, не мог.

Проснулся от звука шагов по крыше. В темноте Исидоровой квартиры светлел прямоугольник окна. Всё повторилось: шаги, фигура в окне. Я знал, что снаружи меня не видно. В детстве любил быть невидимым. Представлял себе, как, невидимый, слежу за кем-то – эти картинки предшествовали той загадочной минуте, когда бодрствование переходило в сон. Глаза мои снова закрылись.

Раму легонько дернули. Остаться невидимым не было больше никакой возможности. Стараясь как можно меньше скрипеть, я спустил ноги на пол, но эта кровать не была создана для беззвучных движений – может быть, и к лучшему. Ее раздраженный скрип выражал возмущение ночными похождениями и не поощрял дальнейших (в буквальном смысле) шагов незнакомца.

– Исидор Пантелеевич...

Раздался легкий стук в стекло.

Я попытался рассмотреть того, кто стоял в окне. Незнакомец оказался незнакомкой.

– Исидор Пантелеевич...

Да, голос был женский. Я приоткрыл окно:

– Я, видите ли, умер.

Произнес это глухо. Думаю, что подобные вещи иначе не произносятся.

– Что? – раздалось из-за окна. – Как – умер?

Я промолчал. Как умирают?

Она сделала шаг – и поскользнулась на покатой крыше. Я успел поймать ее холодную руку. Понятно, что после такого скольжения я не мог оставить гостью на крыше. Отодвинув стол, помог ей спуститься в комнату. Зажег свет.

– Я не Исидор Пантелеевич.

– Я догадалась... Он действительно умер?

Мой печальный поклон.

– Павел. – Показал на кровать. – Прошу садиться.

– Если можно, наденьте, Павел, брюки.

Вот так. Приняла командование на себя. Не ее задачей было напоминать мне о брюках. Надевая их, я подумал, что надо бы возмутиться, но промолчал. Подумав, надел и рубаху.

– Ника, – она подала мне руку.

Пожав ее, я спросил:

– Это вы тут ходили несколько дней назад?

Она кивнула.

На вид Нике было лет восемнадцать-девятнадцать. Одев, она решила меня еще и накормить: предложила выпить чая с конфетами. Конфет у меня не было, но с ними звучало слаще. Я не возражал. Раскладывая пакетики с чаем по чашкам, Ника сказала, что ее приход, наверное, выглядит странным. Я пожал плечами: есть немного.

Ника явно знала, где что лежит. Разлив чай, она подошла к одной из полок и из-за книг достала коробку. В отличие от прочих коробок, в этой оказались конфеты. Я взял одну и попытался надкусить.

– Съедобны? – спросила Ника.

Держа конфету (мизинец на отлете), я был галантен:

– Слегка окаменели.

– Давно лежат.

Она впервые посмотрела мне в глаза:

– От чего он умер?

– Так, ни от чего. Кажется, сердечный приступ.

Я смотрел на Нику, подперев подбородок ладонью. Не назвал бы ее красивой, но было в ней какое-то обаяние – может быть, обаяние юности.

Девочка улыбнулась. Я тоже.

– Расскажите о себе, – попросил я.

Ника была родом из Сольвычегодска. Приехала поступать в Академию Штиглица (она вообще-то рисует), провалилась. Домой возвращаться не захотела: в Сольвычегодске все друг друга знают – злорадство, ну и всё такое... Написала, что поступила, и зависла в Петербурге.

– Где зависла?

– Нигде.

Сняла было комнату в коммуналке, но деньги быстро кончились. Случайно наткнулась на пустое помещение в мансарде – здесь, за стеной. На двери висел замок, но оказалось, что он не закрыт. Хорошее такое помещение, если не считать некоторых неудобств. На лестничной площадке разговорилась однажды с Исидором...

Я с трудом представлял себе, как с Исидором можно было разговаривать. Оказывается, можно: он увидел, как Ника входит в соседнюю дверь, и спросил, что она там делает. Неопределенный жест Ники: ну, как бы живет... Исидор удивлен: там живет, а – как? Очень просто, всё для этого имеется, в трубу врезан кран, нет, правда, умывальника, но набрать воды можно, и вообще – все условия, установлен даже унитаз. А, ну хорошо, ну и славно, но, если что-то нужно – не стесняйтесь... Предложил заходить.

– Исидор? Предложил?

– Да, предложил. Заходила.

Ника надеется, что я не подумал ничего дурного – так я ведь действительно не подумал.

Через пару месяцев устроилась в дом престарелых, переехала туда. Еще раз поступала в Академию Штиглица. Еще раз провалилась. Всё это время продолжала общаться с Исидором. Приходила к нему, а впоследствии, когда он снял дачу, навещала его там.

– Исидор снимал дачу?

– Да, в Комарово. А потом исчез. Уехал.

Неделю назад из дома престарелых Ника уволилась. И, естественно, потеряла свою служебную комнату. Решила вернуться на Пушкинскую, но дверь ее комнаты была опечатана. Ну, то есть той комнаты, которую она считала своей. Постучала к Чагину – никто не открыл. Закаленная жизнью, перед трудностями не отступила. Поднявшись на крышу через черный ход, проникла в свою комнату через окно. В дальнейшем входила и выходила именно так: срывать печать считала неправильным.

Раз или два подходила к окну Исидора – видела, что его нет. Думала, что он в отъезде, а оказалось... Вот.

Сказала:

– Жалко Исидора Пантелеевича.

Жалко, что и говорить.

– Вы можете продолжать заходить сюда. Имею в виду бытовые мелочи.

– Спасибо, не хочу вас беспокоить. Мне проще спуститься в магазин.

Я согласился. Каждый должен поступать так, как ему проще.

Она допила свой чай.

– Вы его родственник?

– Я разбираю его бумаги для Архива.

Она помыла посуду и ушла. Через окно.

* * *

Исидор стал часто бывать у Спицына. Здесь у нас появляется новый источник сведений о Чагине – книга Спицына «Мнемонист», вышедшая еще в советское время. В ней профессор рассказывает об изучении феноменальных способностей своего бывшего студента. В книге показано, как постепенно усложнялись и становились разнообразнее предлагаемые Чагину задания для запоминания.

Сначала это были буквы кириллического и латинского алфавитов, расположенные в произвольном порядке. Когда Исидор справился с ними без видимого напряжения, буквы были заменены картинками. Так возникли ряды растений, птиц и млекопитающих. Единственная сложность для Чагина состояла в том, что он не знал тех или иных названий. При этом как облик неведомого растения (птицы, животного), так и его место в ряду были испытуемому хорошо известны. Так, не назвав при перечислении рыб анчоусов, Исидор в нужном месте подробно их описал.

– Вы когда-нибудь ели анчоусы? – спросил Спицын.

– Никогда, – ответил Чагин. – В Иркутске о них и не ведали, а я всегда думал, что анчоусы – это растения.

На следующий день Спицын повел Исидора в ресторан и заказал анчоусы во всех мыслимых комбинациях. Официант смотрел на пришедших с уважением, угадывая в заказе причуды гурманов. Он был сама любезность и даже сказал, что, когда долго не ест анчоусы, то чувствует по ним как бы тоску.

– Наш коллега, – Спицын показал на Исидора, – не пробовал их уже двадцать два года. Анчоусы Исидору совершенно не понравились.

Следующим этапом было увеличение количества запоминаемых элементов. С этими заданиями Чагин справлялся так же легко, как и с предыдущими. Очень скоро Спицыну перестало хватать изображений, и он вынужденно обратился к цифрам. Это было не так наглядно и увлекательно, как с картинками, зато недостатка в материале не предвиделось.

Увеличение сложности подтвердило ряд наблюдений, сделанных в ходе более простых опытов, а также в основополагающих опытах Лурии и Выготского. Речь здесь, в частности, идет о том, что воспоминания испытуемого располагаются в определенной пространственной

последовательности. Иными словами, то, что запечатлелось в голове, будь то цифры или картинки, память располагала в определенных знакомых мнемонисту местах: на улицах, площадях и в парках.

Такие места Спицын называл *фоном*. Фон мог соответствовать месту, где событие попало в память, но мог от этого места и не зависеть. Когда, по просьбе профессора, Исидор назвал читаемую им сейчас книгу (то была книга о Шлимане), выяснилось, что все ее страницы были расставлены вдоль аллеи Румянцевского сада. Сад этот очень небольшой, и потому страницы находились в тесном соседстве. Характерно, что текст о Минне был помещен в самом зеленом, самом тенистом его уголке.

«Илиаду» (Песнь вторую) Чагин читал в Летнем саду, но фоном ее описаний были причалы у Эрмитажа. Логика запоминания вроде бы понятна: идея причаливания выражена ярче всего именно там. При этом есть здесь и некая нелогичность. Кораблей у Гомера такое количество, что их и в большом порту не разместишь. А его, Чагина, память упорно ведет громадный флот к пятачку у Зимнего дворца.

Исключение в Песни второй – сон Агамемнона, посланный Зевсом. Агамемнон и те, кому он этот сон пересказывает, располагаются у длинной решетки Летнего сада. Почему? Потому что описание сна и пересказ описания – это один и тот же текст, который, таким образом, приводится в поэме дважды. Вероятно, слова казались древним неотъемлемой частью события, и на них не экономили. На Исидора это производит столь сильное впечатление, что он представляет Агамемнону дополнительную площадь.

Исидор обращает внимание и на то, что корабли, в сущности, не описываются. Указано лишь их количество в каждой из флотилий. Чагин записывает в Дневнике, что прошедшие эпохи очень, должно быть, ценили точные указания. Спицын говорит ему, что в древности вообще невероятно много цифр – размеров, расстояний, возрастов. Цифра тогдашним людям казалась важным выражением сущности. Если угодно – ее, сущности, инобытием. Вывод профессора звучит неожиданно: Чагин, который запоминает все цифры, был бы в древности очень значимым человеком.

С той же легкостью цифры и рисунки Чагин воспроизводил и в обратном порядке. Он их не вспоминал, а попросту считывал с картинки в своей памяти. Потому для Исидора не было разницы между осмысленным текстом и бессмысленным – например, произвольным набором слов или цифр. Собственно, и текст становился для него осмысленным лишь тогда, когда он целенаправленно в него вникал. В запоминании содержание не играло никакой роли. Качество запоминания зависело исключительно от положения запоминаемого в пространстве.

Это наглядно продемонстрировал описанный Спицыным опыт. Воспроизводя длинный ряд цифр, Исидор в одном месте сбился. Спицын попросил его огласить цифры еще раз, и испытуемый сбился в том же месте. После небольшой паузы и в первом, и во втором случае он их все-таки назвал. Когда опыт стали разбирать, выяснилось, что цифры Чагин расположил в комнате Спицына. Те из них, которые вызвали затруднения, находились в темном углу: Чагину они попросту не были видны. Как только глаза его привыкли к полумраку, он смог их прочитывать.

Интересно, что в Дневнике Исидор описывает воспроизведенные цифры (в задании они шли тройками) так, как он их видит.

На подоконнике правого окна, прямо по центру, виднеется 385. Рядом – герань (758) и фиалка (221). В соседнем горшке по расширяющейся лесенке поднимается аспарагус. Грузно переваливается через последнюю перекладину и припадает к немывтому окну. Напоминает небольшое облако, переползающее через горный хребет. Нет, застрявшего на заборе толстяка в зеленых штанах. В них тонут тройки 401 и 946.

На левом окне пять луковиц в банках из-под майонеза: 783, 129, 505, 646, 444 (стёкла в сравнении с правым окном кажутся еще более немывыми). Количество луковиц гармонирует с пятью плафонами на люстре (909, 856, 323, 433, 078) – случайность?

Три башни резного буфета: 545, 723, 122.

Фотография склонившихся друг к другу головами пожилых людей, предположительно, родителей Спицына: 456, 356. Футбольная команда философского факультета, в центре – Спицын, нога на мяче. Игроков, как и положено, одиннадцать. Будь я тренером, присвоил бы им эти номера: 878, 235, 567, 888, 903, 117, 771, 800, 545, 777, 023.

Это примерно треть рассыпанных по спицынской комнате цифр. Исидор скрупулезно перечислил местоположение и остальных, словно лишний раз решил проверить свою память. Считаю, что можно ограничиться названными. В какой-то момент тайна кажется близкой к разгадке: мнемотехнические средства – что может быть проще! Для запоминания используются приемы.

Я тупо водил глазами по строкам Исидорова Дневника. Да, Чагин использует мнемотехнические средства. Да, он запоминает цифры на каком-то фоне. Я вот чего не понимаю: а как он *запоминает* их – пусть даже и на фоне? Я, скажем, на любом фоне ничего не запомню.

Спицын, по-моему, этого тоже не понимает.

* * *

Между тем, Николай Петрович и Николай Иванович тоже не сидели сложа руки. Если верить Исидорову Дневнику, то Николай Иванович руки даже и распускал. Это одна из самых захватывающих историй Дневника. Она о том, как Николай Иванович грабил молодую сотрудницу университета Веру Мельникову, состоявшую в Шлимановском кружке. Не взаправду грабил – изображал только, но девушка-то этого не знала.

Идея грабежа принадлежала самому Николаю Ивановичу. Целью операции было ввести Чагина в Шлимановский кружок. Грабеж рассматривался Николаем Ивановичем как хороший повод для знакомства молодых людей. Чагин возразил, что знает и лучшие поводы, и Николай Петрович, поколебавшись, с ним согласился.

Удивившись непонятливости коллег, Николай Иванович негромко выругался. Объяснил, что грабить Веру будет он, а Исидор, как раз-таки наоборот, выступит ее защитником. Автора идеи поняли, но вопрос о грабеже остался: зачем нужно было знакомиться именно так?

Николай Иванович опешил. После паузы он спросил:

– А как?

Хороший был вопрос. Оказалось, что все иные возможности предполагали инициативу со стороны Исидора. Они не рождали впечатления случайности, а это уже выглядело подозрительно.

– Придется, как говорится, грабить, – подвел итог Николай Иванович.

– Придется грабить, – вздохнул Николай Петрович.

Местом операции был назначен исторический факультет, точнее – опоясывающая его открытая галерея. Николай Иванович вовсе не считал, что грабить следует лишь по месту работы. Причиной выбора, по его словам, были арки галереи, за которыми легко спрятаться.

– Архитектор Кваренги, – дал справку Николай Петрович.

Николай Иванович рассеянно кивнул: архитектура не была его сильной стороной. Зато организатором грабежей он оказался первоклассным. Можно сказать, постановщиком, поскольку не поленился привести Чагина и Николая Петровича на будущее место преступления и показать им каждое движение.

Здание истфака в плане – квадрат. Вера Мельникова выйдет из западной галереи. Ее перемещение будет отслеживать Николай Петрович, стоящий на удалении с зонтом (в случае

дождя зонт раскрыт). Если Мельникова направится в сторону Петроградской стороны, он должен приподнять зонт дважды. Если в сторону Исаакия (что маловероятно) – единожды. От этого зависит, в какой галерее будет ее встречать Николай Иванович – северной или южной. Арки этих галерей он пронумеровал.

По плану операции грабитель должен был встретить жертву возле арки номер четыре – так, чтобы у Исыдора была возможность появиться с противоположной стороны и быть замеченным Верой. Вот он, значит, входит в галерею и идет беззаботной походкой. Мысли паренька далеко, он мечтает, может, о космическом полете, и нисколько даже не предвидит инцидента (здрав от избытка беззаботности подбородок, Николай Иванович продефилировал по галерее). И вдруг парень замечает непорядок – это еще что такое (выпученные глаза Николая Ивановича)? Уж не грабеж ли, как говорится, имеет место? Шалишь, брат, так у нас дело не пойдет, не по-советски это! Нечеловеческий замах, сокрушительный, но безболезненный удар в плечо, и преступник обращен в бегство. Скромный герой провожает спасенную девушку до дома. Таков был план.

Само нападение описано по-чагински скрупулезно.

22:30. Усиливающийся дождь, резкий порывистый ветер. В северной галерее истфака стоит Николай Иванович. Достоин отдельного кадра: кожаные пальто и фуражка, солнцезащитные очки (для чего они ему вечером?), длинный черный шарф.

22:32. По окончании занятий с вечерниками Вера Мельникова в окружении нескольких студентов покидает факультет и выходит в западную галерею. Там они некоторое время беседуют. Вера дважды протягивает руку за пределы арки, чтобы понять, стихает ли дождь. Нет, не стихает. Беседа продолжается.

22:39. Девушка прощается с вечерниками и идет по галерее в направлении Петроградской стороны. Зонт в этом случае следует поднять дважды, но после первого раза порыв ветра его из руки Николая Петровича вырывает.

22:39. Исыдор, ориентируясь на один взмах зонта, бежит к южной галерее.

22:39. Николай Иванович мечется по северной галерее, не зная, где именно ему встречать Мельникову. В солнцезащитных очках, забрызганных к тому же дождем, в темноте мало что видно. Николаю Ивановичу, однако, кажется, что зонт был поднят всего один раз. Верно ли? И где Николай Петрович? Он потерял его из виду.

22:40. Николай Петрович пребывает в погоне за зонтом, без которого ему не подать правильный сигнал. Он мчится по открытому пространству в развевающемся плаще. Еще несколько прыжков – и зонт в его руках.

22:40. Дойдя до угла здания, Вера поворачивает направо, и сигнал Николая Петровича запоздало следует из-за ее спины. Время упущено. Николай Иванович догоняет Веру Мельникову не в арке номер четыре, где должен явить свой героизм Исыдор, а только лишь в арке номер шесть. Вырывает у нее сумку. Овладев добычей, злодей, вопреки здравому смыслу, не убегает. Подумав мгновение, он называет девушку *барыней на вате*. Этим заявлением Вера обескуражена, кажется, больше, чем потерей сумки.

22:41. Исыдор, не встретив никого в южной галерее, бежит через восточную – к северной.

22:42. Николай Иванович продолжает обругивать Веру, преградив ей дорогу. Сцена затягивается, поскольку Исыдор всё не появляется. Запас цензурных ругательств у грабителя быстро истощается, и он переходит к нецензурным.

22:42. В северную галерею с противоположной стороны влетает Исыдор и принимает беззаботный вид. Он всё еще тяжело дышит, но подбородок его приподнят, а шаг широк. Спаситель девушки стремится к четвертой арке, но на ограбление наталкивается в шестой. От неожиданности замирает – и несколько секунд слушает отборный мат, которым Николай Иванович поливает Веру.

22:43. Чагин испытывает незапланированную ярость и с размаха бьет Николая Ивановича в скулу. Тот хватается за лицо и изумленно смотрит на грозного защитника. Поднимает упавшие очки и фуражку. Безмолвно качает головой. Не замечает ступеньку, ведущую от галереи к тротуару, падает и ударяется теменем о гранит. Поднимается, уходит. Возвращается, оставляет сумку. Покачиваясь, исчезает.

22:44. Чагин вызывается проводить Веру домой.

На следующий день Николай Иванович задал своим подельникам ряд неудобных вопросов – о летающем зонте, о позднем появлении Исидора, и, главное, – о его ударе. Обследование в районной поликлинике, куда обратился пострадавший, показало сотрясение мозга. Причиной был, впрочем, не кулак Исидора, а удар о ступеньку.

Исидор хотел объяснить Николаю Ивановичу, что и гнев, и удар возникли против его воли, просто от потрясения увиденным и услышанным, но сколько-нибудь внятно изложить этого не умел. Очень трудно было выражать то, что лежало за пределами рационального. А может быть, как смутно догадывался Чагин, и не нужно... В заплавленных глазах Николая Ивановича появилось что-то похожее на уважение. Раньше этого не было.

Спустя несколько дней у Николая Ивановича начались головные боли. После повторного осмотра врачи прописали ему полный покой. Нужно ли говорить, что этот человек не был создан для покоя и предписанию не последовал? Головные боли еще долго его не отпускали.

* * *

Если не считать непредвиденных потерь, операция удалась. Исидор пошел Веру провожать. Она представила его родителям и рассказала о происшествии. Семья Мельниковых поила героя чаем.

Отец Веры был художником. О себе он говорил в третьем лице – Алексей Мельников пошел, Алексей Мельников спросил – и по-мельничному размахивал руками. При этом бородой и свитером крупной вязки напоминал Хемингуэя. Еще, наверное, пристрастием к крепким напиткам – это было очевидно.

Мать – полный контраст: тихая, маленькая. Мельников называл ее *мать*. Чем она занималась, Чагин так и не понял. Судя по всему, ее занятиям в семье большого значения не придавали: всё внимание было отдано творчеству Мельникова. Она была прежде всего *матерью*. Даже имя ее – Елена Павловна – Исидор узнал не в первое свое посещение. Это произошло, когда Мельников рассказывал об их браке. Он, Алексей Мельников, решил жениться на Елене, пока ее не украл Парис. Слушая его, Чагин подумал, что Елену Павловну Парис вряд ли бы украл. Он бы ее просто не заметил.

Квартира была храмом только одного бога, и повсюду здесь висели его картины – в основном, как можно было догадываться, эскизы к выполненным портретам. Кисть живописца была так же размашиста, как его движения. Под этими взмахами рождались мудрые партийные деятели и щедрые душой доярки, сопровождаемые овчарками пограничники и черные до синевы шахтеры и нефтяники. Особое место в творчестве Мельникова занимали моряки-черноморцы. Их он писал без усталости, поскольку эта работа предполагала длительные командировки в Крым.

Все портретируемые, за исключением руководителей ленинградской партийной организации, были отмечены чем-то вроде родовых пятен – то ли сгустившимися в морщинах тенями, то ли следами угля и нефти. Такая творческая манера определила и прозвище портретиста: коллеги-живописцы называли его не иначе как *Леша Черномордец*.

В узком кругу он давал понять (глаза-щелки, пианиссимо), что в выборе натуры сказывалось его неистребимое диссидентство. Картины Мельникова сигнализировали, среди прочего, о том, что стахановцам некогда мыться и четырнадцать норм за смену не всегда совместимы с гигиеной.

Некоторые полотна художника с трудом поддавались толкованию. На портрете пограничника Карацупы его почему-то сопровождала такса, а фамилия грозы шпионов была дана в ее первоначальном виде – Карацюпа. С точки зрения современного искусствоведения, образ пограничника Мельников представляет во всей его противоречивости. Такса символизирует длинную службу (все собаки Карацупы как бы вытянуты в одну), а указание истинной фамилии пограничника намекает на его склонность к лакировке действительности.

К счастью, тогдашнее начальство этих намеков не замечало. Сверкавшие белизной портреты партаппаратчиков с лихвой искупали маленькие причуды художника. Советская власть считала Мельникова певцом человека труда и не скупилась на награды.

Мельниковых Чагин полюбил сразу и – всех. Мельникова – за избыточность, мать – за тишину, ну, а Веру – понятно за что. Вера не могла не нравиться. По своему характеру она занимала промежуточное место между отцом и матерью. Так пишет Исидор и задается вопросом: значит ли это, что общее между ним и Верой – такими разными – также способно возникнуть в их ребенке? По словам Чагина, только от одной этой мысли его бросает в жар. Их общий ребенок – не рано ли появилась эта мысль? Не сошел ли он с ума? Может, и сошел, но от этого сумасшествия Исидор чувствует себя счастливым.

Дней примерно через десять Вера пригласила Чагина на заседание Шлимановского кружка. Есть, сказала, такой. Рассказывала, оказывается, об Исидоре главе кружка Вельскому, и тот разрешил ей привести своего спасителя. Заседания проходят по средам в квартире Вельского на 1-й линии.

– Кружок? – вяло переспросил Чагин. – А почему – Шлимановский?

Обнаруживать слишком большой интерес он не считал уместным.

– Вот придешь и узнаешь, – засмеялась Вера. – Придешь?

Исидор кивнул. Верины губы коснулись его губ.

– Георгий Николаевич сказал: ты – настоящий. Если так поступил – настоящий.

* * *

В ближайшую среду они встретились в Румянцевском саду. Посидев на скамейке, не спеша пошли по 1-й линии. У дома № 28 Вера остановилась:

– Здесь когда-то жил Шлиман. – Она положила голову на плечо Исидору. – А сейчас живет Вельский. Правда, сто лет назад этот дом был тридцатым, а сейчас только двадцать восьмой. Всё понемногу уменьшается...

Чагин пишет, что Вельский встретил его с нервным любопытством. Словосочетание не то чтобы частое, но я понимаю, о чем идет речь. Так, пожалуй, можно было бы описать троянцев, осматривающих дареного коня. Или – чтоб без пафоса – мышь перед мышеловкой: вроде железо да дерево, материалы ей знакомые, какая в них опасность? А сердечко стучит... В каком-то смысле Чагин и был для Вельского такой мышеловкой. Понимал ли это Исидор?

При чтении чагинского Дневника впечатление складывается неоднозначное. С одной стороны, конечно, понимал, потому что не может этого не понимать человек в здравом уме и трезвой памяти (тем более – *такой* памяти). С другой стороны, при описании первой встречи с Вельским, как, впрочем, и последующих, о двусмысленности этого знакомства Исидор не упоминает. Тревожный маячок, который здесь не мог не сработать, он попросту отключает. Ведь, будь он включен, Исидору пришлось бы отказаться от всех подарков, сделанных ему судьбой.

Вот только подарков ли? О том, что сомнения на этот счет Чагина посещали, свидетельствует вопрос на поле: «Как подписывают договор с дьяволом?» Ответа нет, но запись сделана красными чернилами.

Исидору было от чего отказываться. Прежде всего – от квартиры. С ней уходили сам город, временно называвшийся Ленинградом, а главное – Вера... Вера. За короткое время она стала для Чагина всем.

В первый вечер Вельский быстро успокоился и перешел к мягкому, немного учительскому тону, который, как вскоре выяснилось, был у него основным. На этот тон он, в конце концов, имел право, поскольку был создателем и руководителем своего маленького кружка.

Вопреки намекам двух Николаев, Исидору показалось, что кружок вполне соответствует своему имени. Начали с чтения одной из глав «Илиады» (по словам Вельского, *для разминки*), а потом перешли к Шлиману. Кроме того, кружок был в прямом смысле кружком, потому что его участники сидели за круглым столом под абажуром.

По отдельным репликам Чагин понял, что на прошлых встречах рассматривалась история раскопок Шлиманом Трои. В этот раз девушке по имени Янина было предложено доложить о пребывании неутомимого немца в Америке.

Не было никаких сомнений, что докладчица подготовилась серьезно. Она достала из портфеля блокнот и несколько книг с торчащими закладками. Подводя ноготь под закладку, раскрывала книгу на нужной странице и старательно проглаживала место сгиба. Каждое движение Янины свидетельствовало о тщательной проработке темы.

В этом сообщении Исидора заинтересовал рассказ о посещении Шлиманом заседания Конгресса. В тот день перед конгрессменами выступал венгерский революционер Людвиг Кошут. Видный деятель освободительного движения, он боролся за независимость Венгрии от Австрии. Слушатели имели смутное представление как о Венгрии, так и об Австрии – их увлекала идея освободительной борьбы. Что увлекло в этой речи Шлимана, Янина не знала. Возможно, ее эмоциональный накал. Шлиман запомнил выступление дословно и воспроизвел в своем дневнике. Это обстоятельство отразилось, в свою очередь, в Дневнике Чагина. Не могло не отразиться.

Особняком стоял сюжет о посещении Шлиманом американского президента Милларда Филлмора. Шлиман описывает их длинную (полтора часа) и на удивление непринужденную беседу. В его рассказе ощутил оттенок снисходительности. Филлмор показался Генриху гостеприимным, но несколько провинциальным господином. Заморский гость уведомил президента о том, что не мог не поприветствовать его лично, поскольку считал это первым своим долгом. Президент был настолько растроган, что познакомил Шлимана с женой, дочерью и стариком-отцом. На прощание сказал: «Будете в Вашингтоне – обязательно заходите».

После выступления Янины пили чай. Девушка с детским именем Ляля сказала:

– Эта фраза... Ну, насчет того, что – заходите...

– Будете в Вашингтоне – обязательно заходите, – уточнила Янина.

Ляля покраснела.

– Да... Создается впечатление, что встречу с президентом Шлиман немного...

– Придумал? – подсказал Вельский.

– Приукрасил...

Все засмеялись.

– Отличная фраза, – сказала Вера. – Но меня зацепило другое. Шлиман пишет, что запомнил речь венгра дословно.

– Он приводит ее в дневнике. – Янина помахала своими записями, словно это и был дневник.

Вера пожала плечами.

– А откуда мы знаем, что это – дословно? Может ли такое быть?

– Может, – неожиданно сказал Исидор.

Голос его не слушался, и он повторил:

– Может.

Янина (она чувствовала себя ответственной за речь в Конгрессе) вежливо улыбнулась:
– Дословно, конечно, не может – этого никто не может, но близко к тексту – почему нет?
Именно это имеется в виду. Вы не согласны?

– Я не согласен с тем, что *никто не может*.

– А кто может? – улыбка Янины перестала быть вежливой. – Вы?

– Могу попробовать...

Тут наступает звездный час Чагина. Забыв о предупреждении Николаев, он предлагает, чтобы ему прочли незнакомый текст (разумеется, слово *забыть* к Исидору можно применять лишь в переносном смысле). Николаев он не видит, что называется, в упор. Потому что видит только Веру. И возможность произвести на нее впечатление.

Остается только догадываться, как он при этом держался. На манер фокусника? Заговорщицки? Подчеркнуто невозмутимо? Нет, всё это не об Исидоре. Он вообще ничего не делал подчеркнуто. Я думаю, всё происходило самым естественным образом – в той, конечно, мере, в какой так можно говорить о дословном запоминании текстов. Из Дневника мы лишь узнаём, что Чагину было предложено начало гомеровского списка кораблей – ну разумеется, что же еще? Если учесть, что этот текст был для него не чужой, то неудивительно, что воспроизвел он его с блеском.

Я уже не помню, в каких выражениях Исидор описывает впечатления кружковцев. Общее потрясение проступает даже сквозь сдержанную чагинскую манеру повествования. Из Дневника следует, что было сказано много слов – в основном, Вельским. По этому случаю он даже прочел небольшую лекцию об удивительных свойствах памяти.

Вера не сказала ничего, но описанию ее состояния уделено больше всего места – в конце концов, ради нее мнемонический опыт и ставился. Откровенные штампы соседствуют с подробностями почти анатомическими, да и вообще, чувства описываются через тело. Здесь я не удержался от того, чтобы сделать некоторые выписки.

О глазах сначала сказано, что они лучились (в квартире Вельского), затем (когда дверь квартиры за ними закрылась) – влажно блестели. Губы, напротив, оставались сухими и обветренными. Их шершавость Чагин ощутил еще в парадном. Вера забросила руку ему за шею, он чувствовал, как напряглись ее мышцы, а грудь прижалась к его груди. Нашлось место и ногам. Верино колено, словно в зажигательном танго, оказалось между колен Исидора. Об этом танце автор Дневника пишет не то чтобы очень искусно, но с явным удовольствием. Соблюдая при этом разумную достаточность.

В эту ночь Вера впервые осталась у Чагина. Через день она переехала к нему.

* * *

На следующей встрече у Вельского к знакомым Исидору кружковцам добавился новый – юноша Альберт. Судя по манере общения, он был тут завсегдатаем. Исидор называет его *черный денди*. Удачное, замечу, определение – при том что вообще-то Исидор не большой мастер определять.

Всё, кроме крахмально-белой рубашки, у Альберта черное: костюм, лаковые туфли, волосы. Челку резким движением головы он то и дело забрасывает вверх. «Если бы я искал картинку к слову *противоположность*, то на фоне шлимановских девочек (платья в горошек) поставил бы Альберта». Так пишет Исидор, и это не шутка: он часто пытается передать общие понятия через картинки.

Чагин подробно описывает, кто во что был одет, какими были прически и кто где сидел. Он не делит детали на существенные и не очень – приводит все. Передача им диалогов напоминает стенографическую запись – с той лишь разницей, что составлялась она не во время, а

после события. Всё сказанное запоминается им в абсолютной точности и может быть воспроизведено, судя по всему, в любой момент – без ограничения во времени.

Начали опять с чтения «Илиады», но как-то незаметно вернулись к американским записям Шлимана. Мнения насчет их правдивости разделились. Янина, рассказывавшая о шлимановском дневнике, настаивала на его полной правдивости. Кого, спрашивается, обманывает автор, если дневник пишется для самого себя?

– Вы думаете, что дневники пишут для себя? – спросил Вельский.

Янина картинно захлопала глазами.

– Вот Альберт дает читать свой дневник всем, – улыбнулась Вера.

– Наш Альбертик – открытый человек, – возразила Янина. – Был ли таким Шлиман?

Альберт невозмутимо откинул челку со лба: конечно, не был. Кто бы сомневался. Вельский вышел в прихожую и вернулся с портфелем.

– По-моему, всякий, кто ведет дневник, рассчитывает на читателей. Проще говоря, это форма такая. Исповедальная как бы... Я тут кое-что принес по нашей теме, – Вельский щелкнул замками портфеля. – Но сначала – Лялино сообщение.

Ляля подготовила рассказ о поездке Шлимана в Рим. В отличие от американских записей, римские казались ей вполне достоверными – об этом говорили детали. Их было гораздо больше, чем в рассказе о президенте. В такт своему рассказу Ляля дирижирует карандашом.

Итак, Шлиман приезжает в Рим и по обыкновению начинает говорить и писать на языке, что называется, страны пребывания. Поскольку один из текстов представляет для него особую важность, он хочет дать его на проверку какому-то просвещенному итальянцу. Такие итальянцы, по мнению автора, чаще всего встречаются в Ватикане – и Шлиман отправляется на площадь Святого Петра.

В одном из прохожих он безошибочно угадывает подходящую кандидатуру. Генрих предлагает ему оплатить час работы, и незнакомец берется за дело. На правку уходит три часа, что свидетельствует о тщательности редактора, а также о его бесребреничестве, поскольку денег за трехкратное превышение по времени он не просит. В ходе немецко-итальянского сотрудничества выясняется, что правкой занимался кардинал Анджело Майи.

Всё. Ляля кладет карандаш на стол:

– Считаю, что всё описанное – правда.

Альберт задумчиво кивает:

– Одно дело – американский президент, а другое – никому не известный итальянец.

– Ну, положим, итальянец – не такой уж неизвестный. – Вельский достает из папки несколько фотокопий. – Кардинал Анджело Майи стоял у истоков научной библеистики. Для Шлимана такой человек значит не меньше президента.

Альберт пожимает плечами:

– А я уверен, что с кардиналом – это могло быть.

– Не могло, – Вельский улыбается. – Он умер за четыре года до приезда Шлимана в Рим.

«Все смеются», – отмечает Исидор.

Дальше он описывает, как Вельский зачитывает свои фотокопии. Делает это медленно, то и дело останавливаясь: он переводит выводы американского исследования о Шлимане. В нем рассмотрено общение Шлимана с кардиналом, президентом и целым рядом других лиц. Главный вывод: Шлиман патологически лжив. Вельский обмахивается фотокопиями на манер веера, и глянцевая поверхность листов пускает зайчики на потолок.

– Странно, – говорит Ляля. – Это исследование мне не попадалось.

– Ничего странного, – отвечает Вельский. – Этой книги нет в открытом доступе. У меня был случай сфотографировать несколько страниц.

Эффектно. Вельский умел построить интригу. В этом чувствовался опытный преподаватель. Скорее всего – профессор. Мог начать с американской книги – так ведь не начал.

«Вельский любит удивлять», – заключает Чагин.

Возвращаясь с Верой домой, он спросил ее о профессоре.

– Кто профессор – Вельский? – Вера засмеялась. – Он работает копировальщиком в Центральной библиотеке. Но держится как настоящий профессор. Ему хочется быть властителем дум...

– Он тебе не нравится?

– Почему? Нравится. Он забавный.

Вельский, по словам Веры, мог бы быть идеальным профессором, только что-то у него не сложилось. Иногда он намекал на какие-то непреодолимые обстоятельства, которые помешали ему занять это место. Одними глазами указывал куда-то вверх, и это было красноречивее любых пояснений. Впрочем, были и пояснения – их давали люди, хорошо знавшие Вельского. Великолепный рассказчик и эрудит, он так и не написал ни одной работы. Вера остановилась и развернула Исидора за плечи к себе.

– Ни одной, – коснулась его носа своим. – И тогда он начал играть в профессора.

Из Вериного рассказа выяснилось, что, работая в библиотеке, Вельский изготавливал фотокопии и микрофильмы. Чагин подумал, что они с Вельским чем-то похожи: не создают знание, а размножают его. Копируют – с той лишь разницей, что деятельность Вельского контролируется, а Чагина – нет.

Когда речь зашла о контроле, Вера понизила голос.

– Это не мешает ему копировать кое-что и для себя. – Она приложила палец к губам. – И это обеспечивает ему круг почитателей, о котором он мечтал.

– Кружок, – уточнил Исидор. – Шлимановский кружок.

* * *

Через несколько дней Чагин встретился с Николаями. Они спросили о том, как его приняли в Шлимановском кружке.

– Хорошо, – коротко ответил Исидор.

Его приняли хорошо, а он будет на них доносить. Слово *доносить* в отношении сотрудничества с Николаями употребляется им впервые. Чагин пишет, что у него *сжалось сердце* – таких выражений прежде он также не использовал.

Тон Дневника ощутимо меняется. Исидор, по его собственному выражению, начинает *рассуждать* – он, не любитель рассуждений. Описатель предметов и событий. В конце концов, записи Чагин ведет не для памяти.

То, что он писал прежде, было названием и перечислением, там слова подбирались легко. Здесь же написанное Чагиным становится патетически-неуклюжим, по-ученически литературным и, не будь оно таким грустным, могло бы вызвать улыбку. Свое состояние Исидор первоначально определяет как *сердечное смятение*, но потом, зачеркнув оба слова, пишет над строкой, что *близок к отчаянию*. В этом он не может винить никого, кроме себя, потому что все решения принимал сам.

На вопрос о том, что происходило на двух заседаниях кружка, Исидор подробно описал посещение Шлиманом американского президента и его общение с кардиналом Анджело Майи. Не дав Николаям вставить ни слова, Чагин тут же перешел к разоблачению немецкого фантазера. Очевидно, это было не то разоблачение, которого ждали собеседники, потому что Николай Петрович перебил его:

– Вельский показывал какие-нибудь копии?

– Какие копии? – переспросил Чагин.

Николай Иванович сцепил пальцы, и они побелели. Хрустнули. В этом было что-то злое. Хруст-предупреждение.

– Ну, не валяйте дурака! – Хрустнув напоследок, Николай Иванович разжал пальцы. – Вельский – фотокопировальщик в нашей библиотеке и имеет доступ в спецхран. Нас интересует, что он там, как говорится, копирует.

Исидор почувствовал, как к голове прилила кровь.

– Он читал нам про Шлимана... Из папки... Вы думаете, это были копии?

– Не думаю – я это знаю.

– Откуда? – зачем-то спросил Чагин.

– От верблюда. По имени Альберт.

– Альберт – наш человек, – пояснил Николай Петрович. – И он ничего не скрывает. В отличие от вас.

– Я тоже ничего не скрываю, – сказал Чагин. – Просто не понимаю, что запретного может быть в книге про Шлимана.

– То... – Зрачки Николая Ивановича сузились. – То, что эта книга издана за границей. Теперь понимаете? И он ведь, подлец, не только про Шлимана копирует.

Лицо Николая Петровича выражало печаль.

– Наверное, мы оказались слишком доверчивы, – обратился он к Николаю Ивановичу. – Наверное, этому парню лучше было бы сидеть в Иркутске. – Он посмотрел на Исидора. – А ведь это только начало: мы строили на вас большие планы.

– Отправим его к чертовой матери в Иркутск, – предложил Николай Иванович.

Чагин молчал. Он уже и сам не знал, где ему лучше быть. Он, может, и уехал бы, если бы не Вера. Вера...

– Хорошо, – Николай Петрович сдул с рукава что-то невидимое. – Будем считать это недоразумением. Верно?

Чагин кивнул. Николай Иванович подошел к нему вплотную и поправил завернувшийся воротник.

– Только больше с нами не хитрите, – сказал он тихо. – Очень вас прошу. Очень.

* * *

Октябрь начался появлением крысы. Часа в два ночи я проснулся от стука в дверь. Там стояла – нет, не крыса – Ника. Крыса появилась у нее в комнате.

Уже лежа в постели, девушка услышала шуршание в углу. Включив свет, увидела отвратительный хвост, медленно втягивающийся в дыру у плинтуса. Когда хвост исчез, Ника снова легла, но заснуть уже не смогла. Минут через сорок нашла в себе мужество выключить свет. Вскоре крыса снова выползла из своего убежища. Ника не спала, и крыса это видела. Но не уходила. Не шевелясь смотрела на Нику. Эти твари умные и наглые, они знают, когда их боятся. А Ника боялась.

– В конце концов, сейчас их год, – сказала она. – Им теперь всё позволено.

– Думаете, они верят в такую чепуху?

Ника уклонилась от полемики:

– Нужно завести кота. Такого, чтоб ловил крыс.

Конечно, нужно. Как она, интересно, это себе представляет? Притащить домой кота с помойки не получится – такие коты превыше всего ценят независимость. Свобода или смерть, говорят они обычно. Мяу.

– Ночуйте на моей кровати – я лягу на раскладушке.

Кивнула. Едва заметно. Еще как бы не соглашаясь, но вообще-то, конечно, соглашаясь. Мы долго молчали.

Потом отправились в ее комнату за вещами, и она показала мне дыру у плинтуса. Огромную. Мне показалось, что из нее торчал кончик крысиного хвоста. Может быть, оттого, что я был готов его увидеть.

Когда Ника стелила мне на раскладушке, я почувствовал, как по телу прошла теплая волна. Ничего *такого* я в отношении Ники не планировал, но мои планы здесь не имели уже никакого значения. Так же, думаю, как и планы Ники.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.